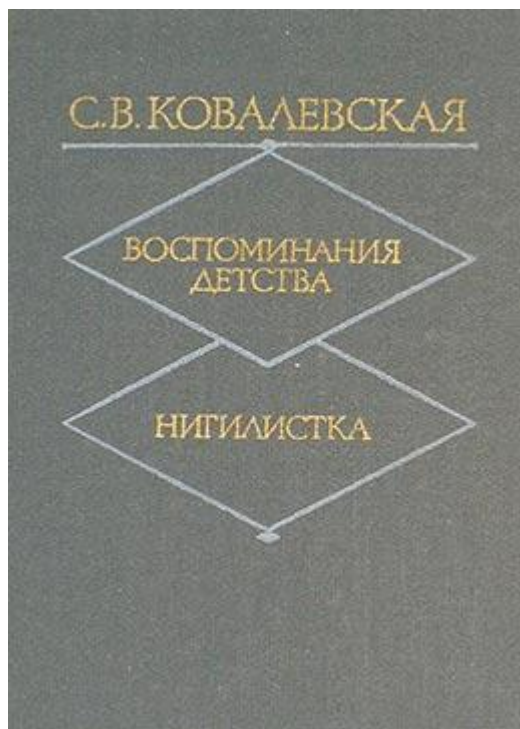


С. В. Ковалевская Воспоминания детства



I. Первые воспоминания

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном я, – первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановиться на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления – еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я действительно помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже – мне никогда не удастся вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня», – говорит он ей.

– А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? – обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

– Стыдно, барышня, не знать своего имени! – трунит надо мной дьячок.

– Скажи, маточка: меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! –

поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

– Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк, – говорит он, – когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского» – сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За эту первую, отчетливо сохранившуюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты, – ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кровати, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезть друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это – нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах – смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

– Да отворяйте вы, няня, форточку! – умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

– Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! – бормочет она по ее ухому.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и

моментом приступления к нашему туалету лежит еще длинный промежуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесанных, начинает угощать нас кофе со сливками и с сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворяется с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

– Comment! vous etes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous etes de nouveau en retard pour votre lec.on!¹ – восклицает она гневно.

– Так невозможно долго спать! Я будут жаловаться генералу! – обращается она к няне.

– Ну, и ступай, жалуйся, змея! – бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

– Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну, и подождешь – не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве, наденет на нас платьице, в котором нередко не хватает нескольких пуговиц, – вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметает пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кровати одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики, – и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более, что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

– Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту! – говорила она, нацепляя на себя мамины украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анюта и Федя – мамины любимчики, я же – нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим

¹ Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали к уроку! (фр.)

присутствием. Может быть, это ей только так казалось именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анюта, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, большими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали, и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамаина горничная, Настасья.

– Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать, – говорит она.

– А Сонечку во что приказано одеть? – спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

– Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! – с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И, действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясонька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не смяла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване перед круглым столом и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает «снять», а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной *souffre-dou-leur*². Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав до конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

– Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей, – слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне. – Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетюшки наглядеться не могли, потому что она первенькая была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше наострить уши.

– Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что! – говорит няня полушепотом. –

² Козел отпущения (фр.).

Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили – барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой, – ан нет, вот поди! – родилась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную – я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленный зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» – говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне – я как теперь помню – тотчас же самой становилось стыдно моего желания. Вскоре у меня прошла даже и охота, и уменье играть с другими детьми. Я помню, что когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную, к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор, нет-нет, да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-головый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски – *angoisse*³. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно занает сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я

³ Томление, тоска, чувство страха (*фр.*)

помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродства. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное, увижу этого уroda во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была поднимать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анята, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменялось и всему предыдущему настал конец.

II. \Воровка\

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эманципации», и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведовал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне. Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени, когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик, – в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целостность детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем подобном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей, – рассуждала няня, – теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет – вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в Феклушину виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако, долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все пропадали. В один

прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключающая в себе рублей сорок, если не больше. Сведение об этой последней пропаже дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозренье, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется, для няни делом одной секунды.

– А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье? – закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

– Няня, голубушка! Я не виновата, право! – взмолилась Феклуша. – Портниха, Марья Васильевна, вчера вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

– Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица, – сказала она презрительно: – ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

– Няня, голубушка, не вру я! Ей, ей, это правда! Хоть сами у нее спросите. Я им вчера утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую», – продолжала утверждать Феклуша.

– Ну, ладно, завтра поутру разберем! – решила нянюшка и, в ожидании утра, заперла Феклушу в темный чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипыванья.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная, и пользовалась большим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась... Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки», – говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но, я помню, старшие всегда замечали, что у нее вид очень *distingue*⁴, «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно, и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегантность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков гераниума, стены были увешаны дешевенькими картинками, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы – лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий рассказ: в молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын-офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» – спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть.

⁴ Благовоспитанный (*фр.*).

Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей волей-неволей приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пенье, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пенье прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?», – Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

– Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девочку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! – сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако Феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

– Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы забыли? Да вчера же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья, – говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

– Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша, – ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни, и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

– Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься! – сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собой разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но приходила к нам в дом помогать стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

– Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, уж доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала! – сказала она ей так строго и с таким многозначительным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась восвояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит она и другие вещи воровала» – говорили все. Общее негодование против Феклуши потому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз вошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

– Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девочке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! – сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

– Что вы, сударыня? Такую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! – говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотавав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокойство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

– Призналась наша птичка! – сказала она радостно.

– Ну, а где же краденые вещи? – спросила мама очень естественно.

– Еще не признается, куда их дела, негодница! – ответила няня озабоченным голосом. – Мелет всякую чепуху. Говорит – «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок, другой – может и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное признание и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а вместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд, за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать Феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на Феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполнение; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель. Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня, уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра – Феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и все не унималась, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня, наконец, не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что все равно глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

– Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку, – сказала Александра таинственно, и оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, она вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

– Где же вы его нашли? – спросила она с любопытством.

– В том-то всё и дело – где нашла, – отвечала Александра протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно наслаждаясь смущением нянюшки. – Садовник наш, Филипп Матвеевич, дали мне свои старые брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек, – произнесла она, наконец, многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым, довольно противным немцем с рыжими типическими четырехугольными баками, но между нашей

женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

– Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? – спрашивала она растерянно. – Ведь он и в детскую, почитай, что никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

– Те, те, те... Так вот оно как! – проговорила она, разводя руками. – Ах ты, смиренница! Ах, негодница!.. Ну, погоди, выведем же мы тебя на чистую воду! – воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уже давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником. – Ну, а сами посудите, – говорила она няне, – стал ли бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает. – И действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи, и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматриванья за ничем не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у старых женщин и побуждает их с азартом кидаться на расследование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подобраться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненным образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

– Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! – говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако, ввиду того, что она была уже пожилая болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать ее обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказалась какая-то

кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

– Мне недолго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! – говорила она.

– Дело было совсем не в этом, – пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой. – Ей просто невольно было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

– Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! – умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

– Послушайте, – сказал он ей, – хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому позору – публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощение и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну, как ей, такой гордячке, повиниться публично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это произошло торжественно и публично. Народу собралось много; каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целования руки.

– Я ей и так прощаю, – говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на возвышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы я перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так и молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша не смела больше возражать и, вся трясаясь от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная, как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но лицо ее было такое решительное и злое,

что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» – вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила Феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась всем телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же из прислуги, которые проводали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумеется, поспешно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная перемена, которая произошла после этого в настроении нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низким и черным, что каждому доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей, жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

– Конечно, она была виновата, – говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме. – Ну, хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг, на, поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми руку целовать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов одни за другими. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось послать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно: – Для кого вы это, няня?

– Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее, больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! – ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась к великой радости моих родителей и зажила у нас в доме по-прежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и старалась не глядеть на нее: мне все чудилось – вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена: мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется Благовещения, я пробегала по коридору мимо комнаты Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

– Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко, что, вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

– Что, барышня, видно совсем меня разлюбили, брезгуете мной! – проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за что. После вечернего чая, когда пришла мне пора идти спать, вместо того, чтобы отправиться прямо в спальню, я решилась забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны, так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и, совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

– Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! – проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять ее не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла», – говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.

По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин, на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.

III. \Мисс Смит\

С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.

До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считая воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься в саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, на нее приходили иногда с жалобой к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.

Что касается нас, младших детей, то отношение отца к нам ограничивалось тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облакался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.

Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, внезапно изменилось. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.

Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.

Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.

Что еще хуже – за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.

Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, следовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой и всем достается, и правому и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду, и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее, мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся, и ждем – «чем-то все это разрешится?»

Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка и гувернантку англичанку.

Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент.

Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне

сохранила все типические особенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, умение всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество над остальными домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и ими объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме.

Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery⁵, в которой она могла бы воспитать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и «спустя рукава». Однако, благодаря ее замечательной настойчивости, она все же до известной степени добилась своего.

С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора, два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до Анютиного поведения, что она умывает себе руки.

Но зато она еще с большим ожесточением сосредоточила все свои заботы на мне, изолируя меня от всех домашних и ограждая меня, как от заразы, от влияния старшей сестры. Этому стремлению к сепаратизму с ее стороны благоприятствовали размеры и устройство нашего деревенского дома, в котором семьи три-четыре свободно могли бы проживать одновременно, вполне не зная друг друга.

Почти весь нижний этаж, за исключением нескольких комнат для прислуги и для случайных гостей, был отведен гувернантке и мне. Верхний этаж, с парадными комнатами, принадлежал маме и Анюте. Федя с гувернером помещались во флигеле, а папин кабинет составлял основание трехэтажной башни и лежал совсем в стороне от остального жилья. Таким образом, те различные элементы, из которых состояла наша семья, имели каждый свои самостоятельные владения и могли, не стесняясь друг другом, вести каждый свою особую линию, встречаясь только за обедом да за вечерним чаем.

IV. Жизнь в деревне

Стенные часы в классной пробили семь. Эти семь повторенных ударов доходят до моего сознания сквозь сон и порождают во мне печальную уверенность, что теперь, сейчас, придет горничная Дуняша будить меня; но мне спится еще так сладко, что я стараюсь убедить себя, будто эти противные семь ударов только почудились мне.

Повернувшись на другую сторону и плотнее натянув на себя одеяло, спешу воспользоваться сладким, кратковременным блаженством, доставляемым последними минуточками сна, которому, я знаю, сейчас наступит конец.

И, действительно, вот скрипит дверь, вот слышатся тяжелые шаги Дуняши, входящей в комнату с ношею дров. Затем ряд знакомых, каждое утро повторяющихся звуков: шум от грузно сбрасываемой на пол охапки, чирканье спичками, треск лучинок, шелест и шуршанье пламени. Все эти привычные звуки доходят до моего слуха сквозь сон и усиливают во мне ощущение приятной неги и нежелания расстаться с теплой постелькой. «Еще минуточку, только минуточку бы поспать!» Но вот шелест пламени в печке становится все громче и ровнее и переходит в мерное, правильное гуденье.

– Барышня, вставать пора! – раздается над самым моим ухом, и Дуняша безжалостной рукой стягивает с меня одеяло.

⁵ Детской (англ.).

На дворе только что начинает светать, и первые бледные лучи холодного зимнего утра, смешиваясь с желтоватым светом стеариновой свечи, придают всему какой-то мертвенный, неестественный вид. Есть ли что-нибудь неприятнее на свете, как вставать при свечах! Я сажусь в постели на корточках и медленно, машинально начинаю одеваться, но глаза мои невольно опять слипаются и приподнятая с чулком рука так и застывает в этом положении.

За ширмами, за которыми спит гувернантка, уже слышится плесканье водой, фыркание и энергичное обтирание.

– Don't dawdle, Sonja! If you are not ready in a quarter of an hour, you will bear the ticket «lazy» on your back during luncheon!⁶ – раздаётся грозный голос гувернантки.

С этой угрозой шутить нельзя. Телесные наказания изгнаны из нашего воспитания, но гувернантка придумала заменить их другими мерами устрашения; если я в чем-нибудь провинюсь, она прищипливает к моей спине бумажку, на которой крупными буквами значится моя вина, и с этим украшением я должна являться к столу. Я до смерти боюсь этого наказания; поэтому угроза гувернантки имеет способность мгновенно разогнать мой сон. Я моментально прыгиваю с кровати. У умывальника уже ждет меня горничная с приподнятым кувшином в одной и с большим лохматым полотенцем в другой руке. По английской манере, меня каждое утро обливают водой. Одна секунда резкого, дух захватывающего холода, потом точно кипяток прольется по жилам, и затем во всем теле остается удивительно приятное ощущение необыкновенной живучести и упругости.

Теперь уже совсем рассвело. Мы выходим в столовую. На столе пытит самовар, дрова в печке трещат, и яркое пламя отсвечивается и множится в больших замерзших окнах. Сонливости во мне не осталось более и следа. Напротив того, у меня теперь так хорошо, так беспричинно радостно на душе; так хотелось бы шуму, смеха, веселья! Ах, если бы у меня был товарищ, ребенок моих лет, с которым можно бы подурачиться, повозиться, в котором бы, так же как и во мне, ключом кипел избыток молодой, здоровой жизни! Но такого товарища нет у меня, я пью чай сам-друг с гувернанткой, так как другие члены семьи, не исключая и брата, и сестры, встают гораздо позднее. Мне так неудержимо хочется чему-нибудь радоваться и смеяться, что я делаю даже слабые попытки заигрыванья с гувернанткой. На беду, она сегодня не в духе, что часто случается с ней по утрам, так как она страдает болезнью печени; поэтому она считает своим долгом усмирить неуместный порыв моей веселости, заметив мне, что теперь время для ученья, а не для смеха.

День начинается у меня всегда уроком музыки. В большой зале наверху, в которой стоит рояль, температура весьма прохладная, так что пальцы мои коченеют и пухнут, и ногти выступают на них синими пятнами.

Полтора часа гамм и экзерсисов, аккомпанируемых однообразными ударами палочки, которую гувернантка выстукивает такт, охлаждают значительно то чувство жизнерадостности, с которою я начала мой день. За уроком музыки следуют другие уроки. Пока сестра училась тоже, я находила в уроках большое удовольствие; тогда, впрочем, я была еще такая маленькая, что серьезно меня почти не учили; но я выпрашивала позволение присутствовать при уроках сестры и прислушивалась к ним с таким вниманием, что на следующий раз случалось нередко, что она, большая 14-летняя девочка, не знает заданного урока, я же, семилетняя крошка, запомнила его и подсказываю его ей с торжеством. Это забавляло меня необычайно. Но теперь, когда сестра перестала учиться и перешла на права взрослой, уроки утратили для меня половину своей прелести. Я занимаюсь, правда, довольно прилежно, но так ли бы я училась, если бы у меня был товарищ!

В 12 часов завтрак. Проглотив последний кусок, гувернантка отправляется к окну исследовать, какая погода. Я слежу за ней с трепещущим сердцем, так как это вопрос очень важный для меня. Если термометр показывает менее 10° мороза и притом нет большого

⁶ Не мямли, Соня! Если ты не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине! (англ.)

ветра, мне предстоит скучнейшая полуторачасовая прогулка вдвоем с гувернанткой взад и вперед по расчищенной от снега аллее. Если же, на мое счастье, сильный мороз или ветрено, гувернантка отправляется на неизбежную, по ее понятиям, прогулку одна, меня же, ради моциона, посылает наверх, в залу, играть в мячик.

Игру в мяч я не особенно люблю; мне теперь уже двенадцать лет; я сама считаю себя уже совсем большой, и мне даже обидно, что гувернантка еще считает меня способной увлекаться такою детскою забавой, как игра в мяч; тем не менее, я выслушиваю приказание с большим удовольствием, так как оно предвещает мне полтора часа свободы.

Верхний этаж принадлежит специально маме и Анюте, но теперь они обе сидят в своих комнатах; в большой зале никого нет.

Я несколько раз оббегаю вокруг залы, погоняя перед собою мячик; мысли мои уносятся далеко. Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозревается взрослыми. Я страстно люблю поэзию; самая форма, самый размер стихов доставляют мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощаю все отрывки русских поэтов, какие только попадают мне на глаза, и я должна сознаться – чем высокопарнее поэзия, тем она более приходится мне по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии. В доме у нас никто особенно этою отраслью литературы не интересовался, и хотя у нас была довольно большая библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было. Я никак не могла дожидаться того дня, когда в первый раз досталась мне в руки хрестоматия Филонова, купленная по настояниям нашего учителя. Это было настоящим откровением для меня. В течение нескольких дней спустя я ходила как сумасшедшая, повторяя строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника», пока гувернантка не пригрозила, что отнимет у меня драгоценную книгу.

Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи. Но гувернантка моя этого занятия не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет примерная английская мисс, и сочинение стихов с этим представлением никак не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки; если, на мою беду, ей попадет на глаза клочок бумажки, исписанный моими виршами, она тотчас же приколет его мне к плечу, и потом, в присутствии брата и сестры, декламирует мое несчастное произведение, разумеется, жестоко коверкая и искажая.

Однако гонение это на мои стихи не помогало. В двенадцать лет я была глубоко убеждена, что буду поэтессой. Из страха гувернантки я не решалась писать своих стихов, но сочиняла их в уме, как старинные барды, и поверяла их моему мячику. Погоняя его перед собой, я несусь, бывало, по зале и громко декламирую два моих поэтических произведения, которыми особенно горжусь: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». В голове у меня задумана длинная поэма «Струйка», нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри», но из нее готовы пока только первые десять строф. А их предполагается 120.

Но муза, как известно, капризна, и не всегда поэтическое вдохновение нисходит на меня как раз в то время, когда мне приказано играть в мяч. Если муза не является на зов, то положение мое становится опасным, так как искушения окружают меня со всех сторон. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня чтения. Детских книг у меня немного, и я все их уже знаю почти наизусть; гувернантка никогда не позволяет мне прочесть какую-нибудь книгу, даже предназначенную для детей, не прочтя ее предварительно сама; а так как она читает довольно медленно и ей постоянно некогда, то я нахожусь, так сказать, в хроническом

состоянии голода насчет книг; а тут вдруг под рукой у меня такое богатство! Ну, как ты не соблазниться!

Я несколько минут борюсь сама с собой. Я подхожу к какой-нибудь книжке и сначала только заглядываю в нее; переверну несколько страничек, прочту несколько фраз, потом опять пробежусь с мячиком, как ни в чем не бывало. Но мало-помалу чтение завлекает меня. Видя, что первые попытки прошли благополучно, я забываю об опасности и начинаю жадно глотать одну страницу за другой. Нужды нет, что мне попался, может быть, не первый том романа; я с таким же интересом читаю с середины и в воображении восстанавливаю начало. Время от времени, впрочем, я имею предосторожность сделать несколько ударов мячиком, на тот случай, чтобы – если гувернантка вернется и придет подсмотреть, что я делаю, – она слышала, что я играю, как мне приказано.

Обыкновенно моя хитрость удается. Я вовремя услышу шаги гувернантки, поднимающейся по лестнице, и успею к ее приходу отложить книжку в сторону, так что гувернантка останется в убеждении, что я все время забавлялась игрою в мяч, как следует хорошему добронравному ребенку. Раза два или три в детстве случилось мне так увлечься чтением, что я ничего не заметила, пока гувернантка как из-под земли не выросла передо мною и не накрыла меня на самом месте преступления.

В подобных случаях, как вообще после всякой особенно важной провинности с моей стороны, гувернантка прибегала к крайнему средству: она посылала меня к отцу с приказанием самой рассказать ему, как я провинилась. Этого я боялась больше всех других наказаний.

В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.

Он любил быть один, и у него был свой собственный мир, в который никто из домашних не допускался. По утрам он уходил на хозяйственную прогулку один или в обществе управляющего; почти всю остальную часть дня сидел в своем кабинете. Кабинет этот, лежащий совершенно в стороне от других комнат, составлял как бы святую святых в доме; даже мать наша и та никогда не входила в него, не постучавшись предварительно; детям и в голову бы не пришло явиться в него без приглашения.

Поэтому, когда скажет, бывало, гувернантка: «Ступай к отцу, похвастайся ему, как ты вела себя!» – я испытываю настоящее отчаяние. Я плачу, упираюсь, но гувернантка неумолима и, взяв меня за руку, подводит или, вернее, протаскивает через длинный ряд комнат к двери в кабинет и тут предоставляет меня моей участи, а сама уходит.

Теперь плакать уже бесполезно; к тому же передняя рядом с кабинетом, и я уже вижу в ней фигуру какого-нибудь праздного, любопытного лакея, который с обидным интересом наблюдает за мной.

– Опять, видно, провинились, барышня! – слышу я за собой полусожалительный, полунасмешливый голос папашиного камердинера Ильи.

Я не удостоиваю его ответом и стараюсь придать себе вид как ни в чем не бывало, как будто я пришла к отцу по собственному желанию. Вернуться назад в классную, не выполнив приказаний гувернантки, я не решалась. Это значило бы усугубить вину явным непослушанием; стоять тут у двери мишенью для насмешек лакеев – невыносимо. Не остается ничего иного, как постучаться в двери и храбро пойти навстречу моей участи.

Я стучусь, но очень тихо. Проходят опять несколько мгновений, которые кажутся мне вечными.

– Постучитесь громче, барышня! папенька не слышат! – замечает снова несносный Илья, которого, очевидно, очень занимает вся эта история.

Нечего делать, я стучусь опять.

– Кто там? Войдите! – раздается, наконец, голос отца из кабинета.

Я вхожу, но останавливаюсь в полутемноте, у порога. Отец сидит за своим письменным столом спиной к двери и не видит меня.

– Да кто же там? Что надо? – окликает он нетерпеливо.

– Это я, папа. Меня Маргарита Францевна прислала! – всхлипываю я в ответ.

Теперь отец уже догадывается, в чем дело.

– А-а! Ты, верно, опять провинилась! – говорит он, стараясь придать своему голосу как можно более суровое выражение. – Ну, рассказывай! Что натворила?

И вот я, всхлипывая и запинаясь, начинаю мой донос на самое себя.

Отец выслушивает мою исповедь рассеянно. Его понятия о воспитании весьма элементарны, и вся педагогика подводится им под рубрику женского, а не мужского дела. Он, разумеется, и не подозревает, какой сложный внутренний мир успел уже сложиться в голове той маленькой девочки, которая стоит теперь перед ним и ждет своего приговора. Занятый своими «мужскими» делами, он и не заметил, как я мало-помалу выросла из того пухленького ребенка, каким была лет пять назад. Его, видимо, затрудняет, что сказать мне и как поступить в данном случае. Мой поступок кажется ему маловажным, но он твердо верит в необходимость строгости при воспитании детей. Ему внутренне досадно на гувернантку, которая не умела уладить такого простого дела сама, а послала меня к нему; но раз уже прибегли к его вмешательству, он должен проявить свою власть. Поэтому, чтобы не ослабить авторитета, он старается придать себе вид строгий и негодующий.

– Какая ты скверная, нехорошая девочка! я очень тобой недоволен, – говорит он и останавливается, потому что не знает, что сказать больше. – Поди, стань в угол! – решает он, наконец, так как из всей педагогической мудрости у него сохранилось в памяти только то, что провинившихся детей ставят в угол.

И вот, можете себе представить, мне, большой двенадцатилетней девице, мне, которая за несколько минут пред тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, мне приходится пойти и стать в угол, как малому, неразумному ребенку.

Отец продолжает свои занятия у письменного стола. В комнате воцаряется глубокое молчание. Я стою, не шевелясь, но, боже мой! чего только не передумаю я и не перечувствую в эти несколько минут! Я так ясно понимаю и сознаю, до какой степени все это положение глупо и нелепо. Какое-то чувство внутренней стыдливости перед отцом заставляет меня повиноваться молча и не дает мне разреветься, сделать сцену. А между тем чувство горькой обиды, бессильного гнева подступает к горлу и душит меня. «Какие это пустяки! Что мне значит постоять в углу», – внутренне утешаю я себя, но мне больно, что отец может и хочет меня унижить, и это тот самый отец, которым я так горжусь, которого ставлю выше всех!

Хорошо еще, если мы остаемся одни. Но вот кто-то стучится в дверь, и в комнату, под тем или другим предлогом, является несносный Илья. Я отлично знаю, что предлог выдуманный, что он просто пришел из любопытства, посмотреть, как барышня наказана; но он и вида не подает, делает свое дело, не торопясь, как будто ничего не замечая, и только уходя бросает на меня насмешливый взгляд. О, как я ненавижу его в эту минуту!

Я стою так тихо, что случается, отец и забудет обо мне и заставит простоять довольно долго, так как, разумеется, я из гордости ни за что не попрошу сама прощения. Наконец отец вспомнит обо мне и отпустит со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Ему и в голову не приходит, какую нравственную пытку перенесла его бедная маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероятно, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в душу. Через несколько минут он, разумеется, совсем забудет об этом неприятном ребяческом эпизоде. А я между тем уйду из его кабинета с чувством такой недетской тоски, такой незаслуженной

обиды, как мне, может быть, раза 2–3 приходилось испытывать впоследствии, в самые тяжелые минуты моей жизни.

Я возвращаюсь в классную притихшая и присмирившая. Гувернантка довольна результатами своего педагогического приема, так как в течение многих дней после этого я так тиха и скромна, что она не может нахвалиться моим поведением; но она была бы менее довольна, если бы знала, какой след оставил у меня на душе этот акт моего усмирения.

Вообще во всех моих воспоминаниях детства черной нитью проходит убеждение, что я не была любима в семье. Кроме случайно подслушанных толков прислуги, развитию этого печального убеждения способствовала в значительной степени та жизнь особняком, которую я вела с моей гувернанткой.

Судьба гувернантки тоже была невеселая. Некрасивая, одинокая, уже немолодая, отставшая от английского общества, но никогда вполне не освоившаяся в России, она сосредоточила на мне весь тот запас привязчивости, всю ту потребность в нравственной собственности, на какую только была способна ее крутая, энергичная, неподатливая натура. Я действительно составляла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и придавала значение ее жизни; но любовь ее ко мне была тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности.

Мать моя и гувернантка были две натуры столь противоположные, что никакой симпатии между ними быть не могло. Мать моя и по характеру, и по наружности принадлежала к числу тех женщин, которые никогда не старятся.

Между нею и отцом была большая разница лет, и отец вплоть до старости продолжал относиться к ней, как к ребенку. Он называл ее Лиза и Лизок, тогда как она величала его всегда Васильем Васильевичем. Случалось ему даже в присутствии детей делать ей выговоры. «Опять ты говоришь вздор, Лизочка!» – слышали мы нередко. И мама нисколько не обижалась на это замечание, а если продолжала настаивать на своем, то только как избалованный ребенок, который вправе желать и неразумного.

Гувернантки нашей мама положительно побаивалась, так как свободолюбивая англичанка нередко резала ее жестоким манером и в детских наших комнатах признавала себя одну полновластной хозяйкой, маму же принимала как гостью. Поэтому мама и заглядывала к нам не часто, и в воспитание мое совсем не вмешивалась.

Что до меня касается, то я в душе очень восхищалась своей мамой, которая казалась мне красивее и милее всех знакомых нам барынь; но в то же время я постоянно испытывала некоторую обиду: за что это она меня любит меньше других детей?

Сию я, бывало, вечером в классной. Уроки мои к завтрашнему дню все уже готовы, но гувернантка все еще под разными предлогами не пускает меня наверх. Между тем сверху, из залы, которая расположена прямо над классной, доносятся звуки музыки. Мама имеет привычку играть по вечерам на фортепьяно. Она играет целыми часами, наизусть, сочетая, импровизируя, переходя от одной темы к другой. У нее очень много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше, и я ужасно люблю слушать, как она играет. Под влиянием музыки и усталости от выученных уроков на меня находит наплыв нежности, желание к кому-нибудь прижаться, приглубиться. Остается уже всего несколько минут до вечернего чая, и гувернантка, наконец, отпускает меня. Я взбегаю наверх и застаю следующую сцену: мама уже перестала играть и сидит на диване, а по обеим ее сторонам, прижавшись к ней, Аня и Федя. Они смеются, болтают о чем-то так оживленно, что и не замечают моего прихода. Я стою несколько минут возле них, молча, в надежде, что они меня заметят. Но они продолжают говорить о своем. Этого достаточно, чтобы охладить весь мой пыл. «Им и без меня хорошо», – проходит у меня по душе горькое, ревнивое чувство и, вместо того, чтобы броситься к маме и начать целовать ее милые белые руки, как я представляла себе внизу, в классной, я забиваюсь куда-нибудь в угол, поодаль от них, и дуюсь, пока не позовут нас к чаю и вскоре затем пошлют меня спать.

V. Мой дядя Петр Васильевич

Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более что потребность в сильной и исключительной привязанности развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-то выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или к сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.

Я помню в детстве две особенно сильные привязанности – к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский. Это был чрезвычайно живописный старик высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу доверху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлендских собак да у малых детей.

Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семейства, но на самом деле каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал своему единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись таким образом без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее и оживленнее, когда он бывал у нас.

Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно, и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue des deux Mondes», своего любимого журнала.

Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «Что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему немало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, что «Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 года, так и умер в этой уверенности.

Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми.

Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» – кричал он и в пылу увлечения крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние – это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.

Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние, за отсутствием общих интересов, не знали, о чем говорить друг с другом.

– А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? – скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери. – Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А, каково? понимаете ли вы,

чем это пахнет?

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно украшая и пополняя ее и выводя из нее такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.

После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию. Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.

Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.

Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.

Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшей гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, по-видимому, удаленных от жизни научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения Анютино поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.

Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.

Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue des deux Mondes». Одна – об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая – об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмголец, и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.

Но не одна политика и отчеты о новейших изобретениях имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже наши детские книги. Никогда ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встречала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое он ценил.

Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.

Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смиренного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян. До всего, что он знал, он или додумался сам, или

вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому – совсем ничтожные.

Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно-покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое, покорное, преданное ей существо, – бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.

Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили растолковать ему, какое на его долю выпало счастье, и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.

Но счастья из этого союза не вышло.

Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается, – однако все мы точно инстинктом чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.

Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».

– Вот была аспид! Упаси, боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить; куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он, и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе, – да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» – кричит. Случалось даже, сметет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам.

Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.

– Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену! – восклицаем мы в негодовании.

– Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь как перчатку! – отвечает тетушка Анна Васильевна. – Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.

– Неужели он ее любил? Злую такую!

– И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как порешили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.

– Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? – спрашиваем мы с любопытством.

Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает энергично вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет.

Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.

– Тетенька, голубчик, расскажите! – пристаем мы к ней.

Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.

– Да так вот... собственные крепостные девки ее задушили! – отвечает она вдруг.

– Господи! какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! – восклицаем мы.

– Да так, очень просто! – повествует Анна Васильевна. – Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная, девка Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как хлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете, что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились – всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег, и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопы подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну, да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие из них, почитай что, и по сию пору в Сибири гниют!

Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.

– Ну, смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! – напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой, ни с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.

Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.

Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!

Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг хлопает в ладоши и в комнату войдут Илья, и Степан, и Саша и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»

Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.

Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало, играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по

поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряда вон выходящее, трагическое, на своем веку.

Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него подолгу, бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой сильный умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет, и руки ей целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам.

Раз, только один раз в течение всего моего детства, не удержалась я и дотронулась до дядиного больного места.

Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя, по обыкновению, сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предавалась своим обычным размышлениям на его счет.

Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:

– О чем ты это задумалась, деточка?

– Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой? – сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.

Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинками, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно. Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.

– Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила! – говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое покрасневшее от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.

С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю.

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода, – смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбуждившем во мне интерес к этой науке.

Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о

дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаюсь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым.

VI. Дядя Федор Федорович Шуберт

Моя привязанность к другому моему дядюшке, брату моей матери, Федору Федоровичу Шуберту, была совсем иного свойства.

Этот дядюшка, единственный сын покойного дедушки, был значительно моложе моей матери; он жил постоянно в Петербурге и в качестве единственного мужского представителя семьи Шубертов пользовался безграничным обожанием своих сестер и многочисленных тетушек и кузин, старых девиц.

Его приезд к нам в деревню считался настоящим событием. Мне было лет девять, когда он приехал к нам в первый раз. О дядином приезде толковали много недель наперед. Ему отвели лучшую комнату в доме, и мама сама присмотрела за тем, чтобы в нее поставили самую покойную мебель. Навстречу ему выслали в губернский город, лежащий в 150 верстах от нашего имения, карету, уложив в нее шубу, меховой коврик и плед, чтобы дядя не простудился, так как это было уже поздно осенью.

Вдруг, накануне того дня, когда ожидали к нам дядю, смотрим мы – подъезжает к парадному крыльцу простая телега, запряженная тройкой почтовых кляч, и из нее выскакивает молодой человек в легком городском пальто, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо.

– Боже мой! Да ведь это брат Федя! – вскрикнула мама, выглянув из окна.

– Дяденька, дяденька приехали! – разнеслось по всему дому, и все мы выбежали в переднюю встречать гостя.

– Федя, бедный! Как же ты это на перекладных приехал? Разве ты не встретил высланного за тобой экипажа? Тебя, должно быть, растрясло всего? – говорила соболезнующим голосом мама, обнимая брата.

Оказалось, что дядя выехал из Петербурга сутками раньше, чем предполагал.

– Христос с тобой, Лиза! – говорил он, смеясь и отирая морозные капли с усов перед тем, чтобы поцеловать сестру, – я не воображал себе, что ты столько возни поднимешь из-за моего приезда! Зачем было за мной высылать? Разве я старая баба, что не могу 150 верст в телеге проехать!

Дядя говорил грудным, очень приятным тенором, как то особенно картавя. Он был на вид еще совсем молодым человеком. Каштановые, подстриженные под гребенку волосы стояли на его голове густым бархатистым бобром, румяные щеки лоснились от мороза, карие глаза глядели задорно и весело, а из-за пухлых ярко-красных, окаймленных красивыми усиками губ поминутно выглядывал ряд крупных белых зубов.

«Экий молодец этот дядя! Вот прелесть», – думала я, оглядывая его с восхищением.

– Кто это? Анята? – спросил дядя, указывая на меня.

– Что ты, Федя! Анюта уж совсем большая. Это только Соня! – обиженным голосом поправила его мама.

– Господи, вот выросли-то у тебя дочки! Смотри, Лиза, ты и опомниться не успеешь, как они тебя в старухи запишут! – сказал дядя, смеясь, и поцеловал меня. Я невольно застыдилась и вся покраснелась от его поцелуя.

За обедом дядя занимает, разумеется, почетное место, возле мамы. Он кушает с большим аппетитом, что не мешает ему, однако, все время без умолку разговаривать. Он рассказывает разные петербургские новости и сплетни и часто смешит всех и сам закатывается веселым, звонким хохотом. Все слушают его очень внимательно: даже папа относится к нему с большим почтением, без тени той высокомерной, покровительственно-насмешливой манеры, которую он так часто принимает с приезжающими к нам молодыми родственниками и которую эти последние очень не любят.

Чем больше я смотрю на своего нового дядю, тем более он мне нравится. Он уже успел вымыться и переодеться, и по его свежему здоровому виду никто бы не догадался, что он только что приехал с дороги. Пиджак из плотной английской материи с искрой сидит на нем как-то особенно ловко, не как на других. Но больше всего нравятся мне его руки, большие, белые, холодные, с блестящими ногтями, похожими на крупный розовый миндаль. Во все время обеда я не спускаю с него глаз и даже есть забываю – так я занята его разглядыванием.

После обеда дядя садится на маленький угловой диванчик в гостиной и сажает меня к себе на колени.

– Ну, давай знакомиться, mademoiselle, моя племянница! – говорит он.

Дядя начинает расспрашивать меня, чему я учусь, что читаю. Дети обыкновенно знают сами гораздо лучше, чем думают взрослые, какие их сильные, какие слабые коньки; так, например, я отлично знаю, что учусь хорошо и что все считают меня очень *avancee*⁷ в науках для моих лет. Поэтому я очень довольна, что дядя вздумал меня об этом спрашивать, и отвечаю на все его вопросы очень охотно и свободно. И я вижу, что дядя очень доволен мной. «Вот какая умница! Уж все это она знает!» – повторяет он ежеминутно.

– Дядя, расскажите-ка и вы мне что-нибудь! – пристаю я к нему в мою очередь.

– Ну, изволь; только такой умной барышне, как ты, нельзя рассказывать сказки, – говорит он шутливо, – с тобой можно говорить только о серьезном. – И он начинает рассказывать мне про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам-то не так давно вышел из университета, так что все эти сведения свежи в его памяти, рассказывает он очень хорошо, и ему нравится, что я слушаю его с таким вниманием, широко раскрыв и уставив на него глаза.

После этого первого дня каждый вечер стало повторяться то же самое. После обеда и мама, и папа отправляются вздремнуть с полчаса. Дяде нечего делать. Он садится на мой любимый диванчик, берет меня на колени и начинает рассказывать про всякую всячину. Он предлагал и другим детям послушать; но сестра моя, которая только что соскочила со школьной скамейки, побоялась, что уронит свое достоинство взрослой барышни, если станет слушать такие поучительные вещи, «интересные только для маленьких». Брат же постоял раз, послушал, нашел, что это невесело, и убежал играть в лошадки.

Что же до меня касается, то наши «научные беседы», как дядя в шутку прозвал их, стали для меня невыразимо дороги. Моим любимым временем изо всего дня были те полчаса после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, не поручусь я даже, что не примешивалось к этому чувству какой-то детской влюбленности, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить «дома ли дядя?». Если за обедом кто-нибудь, заметя, что я не спускаю с него глаз, спросит, бывало: «а что, Софа,

⁷ Успевающей, идущей вперед (*фр.*).

видно ты очень любишь своего дядю», – я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

В течение всего дня я почти не встречалась с ним, так как моя жизнь шла совсем отдельно от жизни взрослых. Но постоянно, и во время уроков, и во время рекреаций, я только и думала: «Скоро ли наступит вечер! Скоро ли я останусь с дядей!»

Однажды, в то время, когда он гостил у нас, к нам приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Эта Оля была единственная девочка моих лет, с которой мне случалось встречаться. Ее привозили к нам, впрочем, не очень часто, но зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас и ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, и хотя характеры наши и вкусы были очень несхожи, так что настоящей дружбы между нами не существовало, но я все же обыкновенно радовалась ее приезду, тем более, что в честь его я освобождалась от уроков и мне давался праздник на целый день.

Но теперь, увидя Олю, первую моей мыслью было: «как же будет после обеда?» Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной, и я уже наперед чувствовала, что присутствие глупенькой Оли все испортит.

Поэтому я встретила мою приятельницу с гораздо меньшим удовольствием, чем обыкновенно. «Не увезут ли ее сегодня пораньше?» – думалось мне с тайной надеждой в течение всего утра. Но нет! Оказалось, что Оля уедет только поздно вечером. Что было делать? Скрепя сердце, я решила открыться моей подруге и попросить ее не мешать мне.

– Слушай, Оля, – сказала я ей вкрадчивым голосом, – я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ты ни захочешь. Но зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась на мое предложение, и я в течение «сего дня честно исполняла мою часть договора. Я играла с ней во все игры, какие она ни придумывала, брала на себя какие роли она мне ни назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню, по первому ее слову. Наконец, позвали нас к обеду. За столом я сидела как на иголках. «Сдержит ли Оля свое слово?» – думалось мне, и я исподтишка с беспокойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор.

После обеда я, по обыкновению, подошла к папеньке и маменьке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то он скажет.

– Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать? – спросил дядя, ласково ущипнув меня за подбородок. Я так и подпрыгнула от радости и, весело ухватившись за его руку, собиралась уже идти с ним в наш заветный уголок. Но вдруг увидела, что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами.

Оказалось, что мои уговоры только испортили дело. Очень может быть, что если бы я ей ничего не говорила, она, увидя, что мы с дядей собираемся беседовать о серьезном и питая спасительный страх ко всему, что напоминает ученье, сама поторопилась бы от нас убежать. Но видя, что я так дорожу рассказами дяди и что я хочу во что бы то ни стало от нее отделаться, она вообразила себе, что мы, верно, говорим о чем-нибудь очень интересном, и ей захотелось тоже послушать.

– А можно и мне пойти с вами? – спросила она умоляющим голосом, подняв на дядю свои голубые умильные глаза.

– Разумеется, можно, милочка, – ответил дядя и взглянул на нее очень ласково, очевидно, любуясь ее хорошеньким розовым личиком.

Я бросила на Олю гневный, негодующий взгляд, который, однако, не сконфузил ее нимало.

– Да ведь Оля этих вещей не знает. Она все равно ничего не поймет, – попробовала я заметить сердитым голосом. Но и эта попытка отделаться от навязчивой подруги ни к чему не повела.

– Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно, – сказал дядя добродушно, и взяв нас обеих за руки, направился с нами к дивану.

Я шла в угрюмом молчании. Эта беседа втроем, причем дядя будет говорить для Оли, соображаясь с ее вкусами и ее пониманием, была вовсе не тем, чего мне хотелось. Мне казалось, что у меня отняли что-то принадлежащее мне по праву, неприкосновенное и дорогое.

– Ну, Софа, полезай ко мне на колени! – сказал дядя, по-видимому, и не замечая совсем моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

– Не хочу! – ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня – я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей: «Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!»

Оля не заставила повторить себе это приглашение дважды и, прежде чем я опомнилась, прежде чем я успела сообразить, что случилось, она уже оказалась на моем месте у дяди на коленях. Этого уже я никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот – не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами.

Я была слишком поражена, чтобы выразить какой бы то ни было протест; я только молча широко раскрытыми глазами глядела на мою счастливую подругу; а она, чуть-чуть сконфуженная, но все же очень довольная, восседала себе у дяди на коленях как ни в чем не бывало. Сложив свой маленький ротик в уморительную гримаску, она силилась придать своему круглому детскому личику выражение серьезности и внимания. Вся она покраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

Глядела я на нее, глядела, и вдруг – клянусь, я теперь и сама не знаю, как это случилось, – произошло нечто ужасное. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

Мое нападение было так внезапно, так неожиданно, что в первую секунду все мы трое остались ошеломленными и только молча глядели друг на друга. Но вдруг Оля пронзительно взвизгнула, и от визга ее все очнулись.

Стыд, горький, отчаянный стыд охватил меня. Я опрометью побежала вон из комнаты. «Гадкая, злая девчонка!» – напутствовал меня рассерженный голос дяди.

Моим обычным убежищем во всех важных бедах моей жизни была комната, принадлежавшая прежде Марье Васильевне, теперь отведенная нашей бывшей няне. Там и теперь искала я спасения. Спрятав голову в колени доброй старушки, я рыдала долго и продолжительно, и няня, видя меня в таком положении, не спрашивала меня ни о чем, а только, глядя мои волосы, осыпала меня ласкательными именами. «Бог с тобой, моя ясонька! Успокойся, родная!» – говорила она, и мне, в моем возбужденном состоянии духа, так отрадно было выплакаться хорошенько у нее на коленях.

По счастью, в этот вечер гувернантки моей не было дома: она на несколько дней уехала в гости к соседям. Поэтому никто не хватился меня. Я могла вволю наплакаться у няни. Когда я несколько успокоилась, она напоила меня чайком и уложила в кроватку, где я в ту же секунду уснула крепким, свинцовым сном.

Но, когда я проснулась на следующее утро и вдруг вспомнила, что было вчера, мне стало так стыдно, что я думала, что никогда больше не решусь глядеть в глаза людям. Однако все обошлось гораздо лучше, чем я ожидала. Олю увезли еще вчера вечером. Очевидно, она была так благородна, что не нажаловалась на меня. По лицам всех в доме было видно, что они ничего не знают. Никто не попрекал меня вчерашним, никто не дразнил меня. Дядя, и тот делал вид, будто ничего особенного не произошло.

Однако, странное дело, с этого дня чувства мои к дяде совсем изменили свой характер. Послеобеденные наши беседы не возобновлялись более. Вскоре после этого эпизода он

уехал назад в Петербург, и хотя впоследствии мы часто встречались, и он всегда был очень добр ко мне, и я его очень любила, но прежнего обожания к нему я уже никогда больше не испытывала.

VII. Моя сестра

Но несравненно сильнее всех других влияний, отразившихся на моем детстве, было влияние моей сестры Анюты.

Чувство, которое я питала к ней с самого моего детства, было очень сложное. Я восхищалась ею непомерно, подчинялась ей во всем беспрекословно и чувствовала себя очень польщенной всякий раз, когда она позволяла мне принять участие в чем-нибудь, что занимало ее самое. Для сестры моей я пошла бы в огонь и в воду, и в то же время, несмотря на горячую привязанность к ней, в глубине души гнездилась у меня и крупица зависти, той особого рода зависти, которую мы так часто почти бессознательно испытываем к людям, нам очень близким, которыми мы очень восхищаемся и которым желали бы во всем подражать.

А между тем завидовать моей сестре грешно было, так как судьба ее была, собственно говоря, далеко не веселая.

Родители мои переехали на постоянное жительство в деревню именно к тому времени, когда она начала выходить из детского возраста.

Незадолго до нашего переезда вспыхнуло польское восстание, и так как имение наше лежало на самой границе Литвы и России, то отголосок этого восстания коснулся и нас. Большинство соседних помещиков, и преимущественно самые богатые и образованные, были поляки; многие из них оказались более или менее серьезно скомпрометированными; у некоторых имения были конфискованы; почти все обложены контрибуциями. Многие добровольно побросали свои усадьбы и уехали за границу. В годы, следовавшие за польским восстанием, молодежи как-то совсем и не видно было в наших краях; она вся куда-то улетучилась. Оставались только дети да старики, безобидные, напуганные, боявшиеся собственной тени, да разный пришлый люд чиновников, купцов и мелкопоместных дворян.

Понятно, что при подобных условиях деревенская жизнь не была особенно весела для молоденькой девушки. К тому же все предварительное воспитание Анюты было такого рода, что никаких деревенских вкусов у нее развиться не могло. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. К тому же зачинщицею всяких подобных удовольствий всегда являлась англичанка-гувернантка, а существовавший между нею и Анютою антагонизм был так велик, что стоило одной из них выступить с каким-нибудь предложением, чтобы другая тотчас же отнеслась к нему враждебно. Одно лето пристрастилась Анюта, правда, к верховой езде, но это было, кажется, больше из подражания героине какого-то занимавшего ее тогда романа. Так как подходящего спутника не находилось, то вскоре одинокие прогулки верхом в сопровождении одного скучающего кучера ей надоели, и ее верховая лошадь, окрещенная ею романтическим именем «Фрида», скоро перешла к более скромной должности – развозить по полям управляющего и стала опять известна под своей первоначальной кличкой «Голубки».

О том, чтобы сестра занялась хозяйством, не могло быть и речи: до такой степени подобное предложение показалось бы нелепым и ей самой, и всем ее окружающим. Все воспитание ее было направлено к тому, чтобы развить из нее блестящую светскую барышню. Чуть ли не с семилетнего возраста она привыкла быть царицей на всех детских балах, на которые ее часто возили, пока родители жили в больших городах. Папа очень гордился ее детскими успехами, о которых шло в нашей семье много преданий.

– Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези! Она всякого царевича с ума сведет! – говаривал, бывало, папа, разумеется, в виде шутки; но беда была в том, что не только мы, младшие дети, но и сама Анюта принимала эти слова всерьез.

В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высоконькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла назваться почти

писаной красавицей, а кроме того, у нее было много своеобразного *charme*. Она сама отлично сознавала, что могла бы играть первую роль в любом обществе, а тут вдруг деревня, глушь, скука.

Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Отец сначала только отшучивался, но иногда он снисходил до объяснений и очень резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика жить в своем поместье. Бросить теперь имение значило бы разорить всю семью. На эти доводы Анюта не знала, что возразить. Она только чувствовала, что ей-то от этого не легче, что ее-то молодость дважды не повторится. После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала.

Впрочем, раз в год, зимою, отец отправлял обыкновенно мать и сестру на месяц или недель на шесть в Петербург погостить у тетушек. Но поездки эти, стоившие массу денег, пользы собственно не приносили. Они только разжигали в Анюте вкус к удовольствиям, а удовлетворения не доставляли. Месяц в Петербурге пройдет всегда так быстро, что она и опомниться не успеет. Такого человека, который бы мог направить ее ум на серьезное, она в том обществе, куда ее возили, встретить не могла. Женихов подходящих тоже не представлялось. Нашьют ей, бывало, нарядов; свезут раза три-четыре в театр или на бал в дворянское собрание; кто-нибудь из родственников устроит вечер в ее честь, наговорят ей комплиментов ее красоте; потом, только что она начнет входить в настоящий вкус всего этого, опять увезут ее в Палибино, и опять начнется для нее безлюдье, безделье, скука, скитание целыми часами из угла в угол по огромным комнатам палибинского дома, переживание в мыслях недавних радостей и страстные, бесплодные мечты о новых успехах на том же поприще.

Чтобы хоть чем-нибудь наполнить пустоту своей жизни, сестра постоянно выдумывала себе какие-нибудь искусственные увлечения, и так как жизнь ее домашних тоже была очень бедна внутренним содержанием, то обыкновенно все в доме с жаром накидывались на всякую ее новую затею, как на предлог для разговоров и для волнений. Одни порицали ее, другие сочувствовали ей, но для всех она доставляла приятный перерез в обычном однообразии жизни.

Когда Анюте было всего лет пятнадцать, она проявила первый свой акт самостоятельности тем, что набросилась на все романы, какие только находились в нашей деревенской библиотеке, и поглотила их невероятное количество. По счастью, никаких «дурных» романов у нас в доме не имелось, хотя в плохих и в бездарных недостатка не было. Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением. Они ввели ее в неведомый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии. С ней повторилось то же самое, что за много веков перед тем было с бедным Дон Кихотом: она уверовала в рыцарей и самое себя вообразила средневековой барышней.

На беду еще наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его: *Chateau Palibino*⁸. Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой ведущей в нее лестницы заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутинок, увесила ее старыми коврами и оружием, выкопанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное местопребывание. Как теперь вижу я ее гибкую, стройную фигуру, облеченную в плотно обтягивающее ее белое платье, с двумя тяжелыми белокурыми косами, свешивающимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно, на

⁸ Замок Палибино (*фр.*).

большую дорогу, не едет ли рыцарь.

– Soeur Anne, soeur Anne! Ne vois tu rien venir?

– Je ne vois que la terre qui poudroit et l'herbe qui verdoit!⁹.

Наместо рыцаря приезжал исправник, приезжали акцизные чиновники, приезжали жиды скупать у отца водку и быков, а рыцаря все не было. Наскучило, наконец, сестре ждать его, и рыцарский период прошел у нее столь же быстро, как и начался.

В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд».

После Гастингского сражения «Эдит-Лебединая шея» нашла в числе убитых труп любимого ею короля Гаральда. Перед самою битвою он совершил клятвопреступление, смертный грех, и умер, не успев покаяться. Душа его обречена на вечные муки.

После этого дня исчезла и Эдит из родного края, и никто из ее близких не слышал более о ней. С тех пор прошло много лет, и самая память об Эдит начала забываться.

Но на противоположном берегу Англии, среди диких скал и лесов стоит монастырь, известный своим строгим уставом. Там живет уже много лет одна монахиня, наложившая на себя обет вечного молчания и восхищающая всю обитель подвигами своего благочестия. Она не знает покоя ни днем, ни ночью; в ранние часы утра и в глухую полночь виднеется ее коленапреклоненная фигура перед распятием Христа в монастырской часовне. Всюду, где есть какой-нибудь долг совершить, помощь подать, чужое страдание утешить, – всюду является она первою. Ни один человек не умирает в околотке без того, чтобы над его смертным одром не склонилась высокая фигура бледной монахини, без того, чтобы чела его, уже покрытого холодным предсмертным потом, не коснулись ее бескровные уста, скованные страшным обетом вечного молчания.

Но никто не знает, кто она такая, откуда она пришла. Лет двадцать тому назад явилась к воротам монастыря закутанная черным покрывалом женщина и после долгого таинственного разговора с игуменьей навсегда осталась тут.

Тогдашняя игуменья давно уже умерла. Бледная монахиня все расхаживает тут, как тень, но никто из ныне живущих в монастыре не слышал звука ее голоса.

Молодые монахини и бедный люд во всей окрестности поклоняются ей, как святой. Матери приносят к ней больных детей, чтобы она коснулась их рукою, в надежде, что они исцелятся от одного ее прикосновения. Но есть также люди, которые поговаривают, что, верно, в молодости она была великой грешницей, если ей приходится путем такого самобичевания искупать прошлое.

Наконец, после многих, многих лет самоотверженной работы наступает ее смертный час. Все монахини, и молодые, и старые, столпились у ее смертного одра; сама мать-игуменья, уже давно лишившаяся употребления ног, велела перенести себя в ее келью.

Вот входит священник. Властью, данной ему господом нашим Иисусом Христом, он разрешает умирающую от наложенного ею на себя обета молчания и заклинает ее поведать им перед кончиной, кто она такая, какой грех, какое преступление тяготее на ее совести.

Умирающая с усилием приподнимается на постели. Ее бескровные губы словно окаменели в их долгом молчании и отвыкли от людской речи; в течение нескольких секунд они шевелятся судорожно и машинально, прежде чем им удастся издать какой-нибудь звук. Наконец, повинувшись приказанию своего духовного отца, монахиня начинает говорить, но голос ее, не раздававшийся в течение двадцати лет, звучит глухо и неестественно.

– Я – Эдит, – с трудом произносит она. – Я невеста погибшего короля Гаральда.

При звуке этого имени, проклинаемого всеми благочестивыми служителями церкви, робкие монахини в ужасе совершают крестное знамение. Но священник говорит:

– Дщерь моя, ты любила на земле великого грешника. Король Гаральд проклят нашей

⁹ Сестра Анна, сестра Анна! Не видишь ли ты – идет кто-нибудь? – Я вижу только пылящую землю и зеленеющую траву! (фр.)

общей святой матерью – католической церковью, и не будет ему никогда прощения: вечно гореть ему в адском огне. Но бог видел твоёмноголетнее подвижничество. Он оценил твоё раскаяние и слезы. Иди с миром. В райской обители ждёт тебя другой, бессмертный жених.

Впалые, словно восковые щеки умирающей внезапно покрываются румянцем. В её, казалось, давно поблекших глазах вспыхивает страстный, лихорадочный огонь.

– Не надо мне рая без Гаральда! – восклицает она к ужасу всех присутствующих монахинь. – Если Гаральд не прощен, пусть и меня не зовет бог в свою обитель!

Монахини стоят молча, оцепенелые от ужаса, а Эдит, с неестественным усилием приподнявшись со своего одра, повергается ниц перед распятием.

– Великий боже! – взывает она своим надломленным, уже почти нечеловеческим голосом. – За один миг страданий твоего сына ты снял со всего человечества печать прирожденного греха. А я в течение двадцати лет умираю каждый день, каждый час медленной, мучительной смертью. Ты видел, ты знаешь мои страдания. Если я заслужила ими перед тобой – прости Гаральда! Яви мне перед смертью знамение: когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собою свеча перед распятием. Тогда я буду знать, что Гаральд прощен.

Священник читает «Отче наш». Торжественно, внятно произносит он каждое слово. Монахини, и молодые, и старые, шепотом повторяют за ним святую молитву. Между ними нет ни одной, которая не проникнулась бы жалостью к несчастной Эдит, которая не отдала бы охотно собственной жизни за спасение души Гаральда.

Эдит лежит распростертая на земле. Её тело уже сведено судорогой, и вся её угасающая жизнь сосредоточилась только в её глазах, устремленных на распятие.

Свеча все не загорается.

Священник прочел молитву. «Аминь», – провозгласил он печальным голосом.

Чуда не совершилось. Гаральд не прощен.

Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор её погас навеки.

И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры. Её воображению в первый раз в жизни ясно представились вопросы: есть ли будущая жизнь? Все ли кончается смертью? Встретятся ли два любящих существа на том свете и узнают ли друг друга?

С той необузданностью, которую она вносила во все, что делала, сестра вся проникнулась этими вопросами, точно она первая на них натолкнулась, и ей преискренне стало казаться, что она не может жить, не получив на них ответа.

Как теперь помню, был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было так удивительно стройно и хорошо. В открытые окна врывался запах роз и скошенного сена. С фермы доносилось мычанье коров, бляенные овец, голоса рабочих, – все разнообразные звуки деревенского летнего вечера, – но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя.

У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване, с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у неё надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

– Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила её в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

– Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудная, эта жестокая книга, – она указала на роман Бульвера, – заставила меня глубже заглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь – все

кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно, ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась головой в подушку дивана.

Это искреннее отчаяние 16-летней девушки, в первый раз наведенной на мысль о смерти чтением экзальтированного английского романа, эти патетические, книжные слова, обращенные к десятилетней сестре, все это, вероятно, заставило бы улыбнуться взрослому. Но у меня сердце буквально замерло от ужаса, и я вся преисполнилась благоговением к важности и серьезности мыслей, занимающих Аньоту. Вся краса летнего вечера внезапно померкла для меня, и я даже устыдилась той беспричинной радости, которая за минуту перед тем переполняла все мое существо.

– Но ведь мы же знаем, что есть бог и что после смерти мы пойдем к нему, – попробовала я, однако, возразить. Сестра посмотрела на меня кротко, как взрослый на ребенка.

– Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом, – сказала она голосом очень печальным, но вместе с тем преисполненным такого сознания превосходства надо мной, что я тотчас почему-то устыдилась ее слов.

После этого вечера с сестрой моей произошла большая перемена. Несколько дней после этого она ходила кротко-печальная, изображая всем своим видом отречение от благ земных. Все в ней говорило: *memento mori*¹⁰. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами были забыты. На что любить, на что желать, когда все кончается смертью!

Сестра не дотрагивается больше ни до единого английского романа; они ей все опротивели. Зато она жадно поглощает «*Imitation de Jesus Christ*»¹¹ и решается, подобно Фоме Кемпийскому, путем самобичевания и самоотречения заглушить возникающие в душе сомнения.

С прислугой она небывалым образом кротка и снисходительна. Если я или младший брат о чем-нибудь просим ее, она не ворчит на нас, как бывало иногда прежде, а тотчас уступает нам, но с видом такой души сокрушающей *resignation*¹², что у меня сжимается сердце и пропадает всякая охота к веселью.

Все в доме преисполнилось уважением к ее благочестивому настроению и обращаются к ней нежно и осторожно, как с больной или с человеком, потерпевшим тяжелое горе. Только гувернантка недоверчиво пожимает плечами, да папа подтрунивает за обедом над ее туманным видом, «*son air tenebreux*»¹³. Но сестра покорно переносит насмешки отца, а с гувернанткой обращается с такой изысканной вежливостью, которая бесит последнюю, пожалуй, больше грубости. Видя сестру свою такую, и я ничему не могу радоваться; даже стыдно, что я еще не довольно сокрушаюсь, и втайне завидую силе и глубине чувств своей старшей сестры.

Продолжалось это настроение, однако, недолго. Приближалось 5 сентября: это были именины моей матери, и день этот всегда праздновался у нас в семье с особенной торжественностью. Все соседи, верст на пятьдесят в окружности, съезжались к нам; набиралось человек до ста, и уже всегда к этому дню устраивалось у нас что-нибудь особенное: фейерверк, живые картины или домашний спектакль. Приготовления начинались, разумеется, задолго наперед.

Мать моя была большая любительница домашних спектаклей и сама играла хорошо и с

¹⁰ Помни о смерти (*лат.*).

¹¹ «Подражание Иисусу Христу» (*фр.*).

¹² Покорности судьбе (*фр.*).

¹³ «Мрачным видом» (*фр.*).

большим увлечением. В нынешнем году у нас только что отстроили постоянную сцену, совсем как следует, с кулисами, занавесью и декорациями. В соседстве было несколько старых записных театралов, которых всегда можно было завербовать в актеры. Матери очень хотелось домашнего спектакля, но теперь, когда у нее была взрослая дочь, ей как будто совестно было выказывать слишком много азарта к этому делу; ей бы хотелось, чтобы все это устроилось якобы для удовольствия Анюты. А Анюта тут-то, как нарочно, напустила на себя монашеское настроение духа!

Помню я, как осторожно, несмело подступала к ней мать, стараясь навести ее на мысль о домашнем спектакле. Анюта сдалась не тотчас же; сначала она обнаруживала большое презрение ко всей этой затее: «как хлопотливо! и к чему!» Наконец, она согласилась, как бы уступая желаниям других.

Но вот съехались участвующие, приступили к выбору пьесы. Это, как известно, дело нелегкое: надо, чтоб пьеса была и забавна, и не слишком вольна, и не требовала большой постановки. В этом году остановились на французском водевиле «Les oeufs de Perette»¹⁴. Анюте в первый раз приходилось участвовать в домашнем спектакле на правах взрослой барышни; ей досталась, разумеется, главная роль. Начались репетиции; у нее обнаружился удивительный сценический талант. И вот, боязнь смерти, борьба веры с сомнениями, страх таинственного *au dela*¹⁵ – все улетучилось. С утра до вечера звучит по всему дому звонкий голос Анюты, распеваяющий французские куплеты.

После маминых именин она опять горько плакала, но уже по другой причине: потому, что отец не хотел сдаться на ее убедительные просьбы поместить ее в театральную школу, – она чувствовала, что ее призвание в жизни – быть актрисой.

VIII. \Нигилизм Анюты\

В то время, когда Анюта мечтала о рыцарях и проливала горькие слезы о судьбе Гаральда и Эдит, большинство интеллигентной молодежи в остальной России было охвачено совсем другим течением, совсем другими идеалами. Поэтому увлечения Анюты могут показаться, пожалуй, странным анахронизмом. Но тот уголок, в котором лежало наше имение, был так удален от всяких центров, такие крепкие, высокие стены ограждали Палибино от внешнего мира, что волна новых веяний могла достигнуть в наш мирный заливчик лишь долгое время спустя после того, как она поднялась в открытом море.

Зато, когда эти новые течения дошли, наконец, до берега, они сразу охватили Анюту и увлекли ее за собой.

Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи – сказать трудно. Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи – оставлять по себе мало следов. Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот перед ним совсем иная формация, совсем иные типы, а откуда они взялись, как развились они из прежних, – он сказать не может.

Окаменелые экземпляры вполне развитых типов всюду находятся во множестве, ими битком набиты все музеи, но рад-радешенек бывает палеонтолог, если ему где-нибудь случайно удастся выкопать череп, несколько зубов, кусочек отдельной кости какого-нибудь переходного типа, по которым он может воссоздать в своей научной фантазии тот путь, каким совершалось развитие. Можно подумать, что природа сама ревниво стирает и сглаживает все следы своей работы; она как будто щеголяет совершенными образцами

¹⁴ «Яйца Перетты» (фр.).

¹⁵ Потустороннего мира (фр.).

своего творчества, в которых ей удалось воплотить какую-нибудь вполне развитую мысль, но она немилосердно уничтожает самую память о своих первых неуверенных попытках.

Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду.

Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» – вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей – отречься от детей.

Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то – убежать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу – учиться, которая в Петербург – к «нигилистам».

Главным пугалом всех родителей и наставников в палибинском околотке была какая-то мифическая коммуна, которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге. В нее – так, по крайней мере, уверяли – вербовали всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом. Молодые люди обоюго пола жили в ней в полнейшем коммунизме. Прислуги в ней не полагалось, благородные барышни-дворянки собственноручно мыли полы и чистили самовары. Само собою разумеется, что никто из лиц, распространявших эти слухи, сам в этой коммуне не был. Где она находится и как она вообще может существовать в Петербурге, под самым носом у полиции, никто точно не знал, но тем не менее существование подобной коммуны никем не подвергалось сомнению.

Вскоре и в непосредственной близости от нашего дома стали обнаруживаться признаки времени.

У приходского священника, отца Филиппа, был сын, всегда прежде радовавший сердца своих родителей добронравием и послушанием. И вдруг, кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша ни с того, ни с сего превратился в непокорного сына и наотрез отказался идти в священники, хотя ему стоило только руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство, архиерей, призвал его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта заманчивая перспектива не прельстила молодого попovichа. Он предпочел уехать в Петербург, поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет ученья на чай да на сухую булку.

Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его вместо того пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею, якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы, что бедный огорошенный батюшка схватил кропильницу и

стал кропить сына святой водой.

В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.

Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на вопрос человека: «что ему угодно?» – ответил, что просто пришел к генералу с визитом.

Отец мой уже наслышался немало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодовал, что молодой выскочка вздумал явиться к нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».

Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился нимало и, уходя, проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в его доме не будет».

Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.

Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала в кабинет отца и с покрасневшими щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека».

Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, Анютин внезапный припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.

Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придавать выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в присутствии Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступаться за конюха; разумеется, и царевна, и ее протеже были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину сказку, не смущаясь нимало, а напротив, с задорным и вызывающим видом.

Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.

Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами, как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зонтиком в ручках поигрывает. А он себе шагает с ней рядом, своими длинными ножищами – ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И все-то он что-то разглагольствует и руками размахивает. А то вдруг вытащит из кармана растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».

Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца или на того средневекового рыцаря, о которых когда-то мечтала Анюта. Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безусловно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный вульгарный выговор на «о», несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, – все

это не делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами. Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романтической подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.

И, действительно, главный prestige молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало того, он имел даже счастье видеть собственными очами – правда, только издали – многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные: «Revue des deux Mondes» и «Atheneum» из иностранных, «Русский вестник» – из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого пошиба: «Современник», «Русское слово», каждая новая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже номер запрещенного «Колокола» (Герцена).

Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против них и спорила. Но, во всяком случае, под влиянием разговоров с поповичем и чтения доставаемых им книг она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.

К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его уехать и не возвращаться на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты, продолжали расти и развиваться.

Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятишек и учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает.

Но всего замечательнее то, что у Анюты, ненавидевшей прежде ученье, явилась теперь страсть учиться. Наместо того, чтобы, как прежде, тратить свои карманные деньги на наряды и тряпки, она выписывает теперь целые ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: «Физиология жизни», «История цивилизации» и т. д.

Однажды пришла Анюта к отцу и высказала вдруг совершенно неожиданное требование: чтобы он отпустил ее одну в Петербург учиться. Отец сначала хотел обратить ее просьбу в шутку, как он дельвал и прежде, когда Анюта объявляла, что не хочет жить в деревне. Но на этот раз Анюта не унималась. Ни шутки, ни остроты отца на нее не действовали. Она горячо доказывала, что из того, что отцу ее надо жить в именье, не следует еще, чтобы и ей надо было запереться в деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья.

Отец, наконец, рассердился и прикрикнул на нее, как на маленькую.

– Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану! – сказал он.

Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали очень натянутые; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась шпилька или язвительный намек.

Вообще в семье нашей стал происходить теперь небывалый разлад. Общих интересов и прежде было немного, но прежде все члены семьи жили каждый сам по себе, просто не обращая большого внимания друг на друга. Теперь же образовалось словно два враждебных лагеря.

Гувернантка с самого начала выступила яркой противницей всех новых идей. Анюту она окрестила нигилисткой и «передовой барышней». Это последнее название звучало как-то особенно ядовито в ее устах. Инстинктом чувствуя, что Анюта что-то такое затевает, она стала подозревать ее в самых преступных замыслах: убежать тайком из дома, обвенчаться с поповичем, поступить в пресловутую коммуну. Поэтому она стала бдительно и недоверчиво наблюдать за каждым ее шагом. А Анюта, чувствуя, что гувернантка за ней подсматривает, нарочно, чтобы подразнить ее, стала окружать себя раздражительной и обидной таинственностью.

То воинственное настроение, которое господствовало теперь в доме нашем, не замедлило отразиться и на мне. Гувернантка, и прежде не одобрявшая моего сближения с Анютой, теперь стала ограждать свою воспитанницу от «передовой барышни», словно от заразы. Насколько могла, она мешала мне с сестрой оставаться наедине и на каждую мою попытку убежать из классной наверх, в мир взрослых, стала смотреть как на преступление.

Этот бдительный надзор гувернантки страшно надоедал мне. Я тоже чутьем чувствовала, что у Анюты завелись какие-то новые, прежде небывалые интересы, и мне страстно хотелось понять, в чем именно дело. Всякий раз почти, когда мне случалось вбежать неожиданно в комнату Анюты, я заставляла ее за письменным столом, что-то пишущей; я пробовала несколько раз допытаться у нее, что такое она пишет, но так как Анюте уже не раз доставалось от гувернантки за то, что она не только сама с пути сбилась, но и сестру совратить хочет, то, боясь новых упреков, она всегда прогоняла меня от себя.

– Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим! – говорила она нетерпеливо.

Я возвращалась в классную с чувством досады и раздражения на гувернантку, из-за которой и сестра мне ничего сказать не хочет. Бедной англичанке все труднее и труднее становилось ладить со своей воспитанницей. Из разговоров, которые велись за обедом, я поняла, главным образом, то, что слушать старших теперь не в моде. Вследствие этого чувство субординации во мне очень ослабело. Ссора моя с гувернанткой происходила теперь почти ежедневно, и после одной особенно бурной сцены эта последняя объявила, что не может более оставаться у нас.

Так как угроза уехать повторялась ею не раз и прежде, то вначале я не обратила на нее большого внимания. На этот раз, однако, дело оказалось серьезным. С одной стороны, гувернантка зашла уже слишком далеко и не могла с честью отказаться от своей угрозы; с другой стороны, постоянные сцены и истории так всем надоели, что родители мои не стали ее удерживать, в надежде, что без нее, быть может, в доме станет тише.

Но до самого конца мне не верилось, что гувернантка уедет, пока не наступил, наконец, самый день отъезда.

IX. Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты

Большой старомодный чемодан, аккуратно обтянутый холщовым чехлом и перевязанный веревками, с утра стоит в передней. Над ним высится целая батарея картоночек, корзиночек, мешочков, узелков, без которых ни одна старая дева не может пуститься в путь. Старенький тарантас, запряженный тройкой в самой простой подержанной сбруе, которую кучер Яков всегда пускает в дело, когда предстоит дальняя дорога, уже ждет у подъезда. Горничные суетятся, вынося и прибирая разные мелочи и безделушки, но папашин камердинер Илья стоит неподвижно, лениво прислонившись к косяку двери и выражая всей своей пренебрежительной позой, что предстоящий отъезд уже не ахти какой важный и что из-за него подымать суматоху в доме не стоит.

Семья наша вся собралась в столовой. Следуя обычному порядку, отец приглашает всех присесть перед дорогой; господа занимают передний угол, а несколько поодаль, теснится вся собравшаяся дворня, почтительно присевшая на кончиках стульев. Несколько минут проходят в благоговейном молчании, во время которого невольно охватывает душу чувство

нервной тоски, неизбежно вызываемое всяким отъездом и расставанием. Но вот отец подает знак встать, крестится на образа, остальные следуют его примеру, и затем начинаются слезы и обниманья.

Я гляжу теперь на мою гувернантку, в ее темном дорожном платье, увязанную теплым пуховым платком, и она вдруг представляется мне совсем иною, чем я привыкла ее видеть. Она как будто внезапно постарела; ее полная энергичная фигура словно осунулась; глаза ее, «молниеносные», как мы тихонько, в насмешку, прозвали их, от которых не ускользал ни один из моих проступков, теперь красны, припухли и полны слез. Кончики губ ее нервно вздрагивают. В первый раз в жизни она кажется мне жалкою. Она обнимает меня долго, судорожно, с такой порывистой нежностью, которой я никогда от нее не ожидала.

– Не забывай меня, пиши. Ведь шутка ли расставаться с ребенком, которого я вырастила с пятилетнего возраста! – говорит она, всхлипывая. Я тоже припадаю к ней и начинаю отчаянно рыдать. Мною овладевает жестокая тоска, чувство невозвратимой утраты – точно с ее отъездом вся наша семья распадается. И к этому примешивается еще сознание собственной виновности. Мне до боли стыдно вспомнить, что все последние дни, не далее как сегодня поутру, меня охватывало тайное ликование при мысли о ее отъезде и о предстоящей свободе.

«Так вот и я дождалась своего, вот она и взаправду уезжает, вот мы и без нее остаемся». И в эту минуту мне так ее жалко, что я бы, кажется, бог знает что дала, чтобы ее удержать. Я цепляюсь за нее, точно не могу от нее оторваться.

– Пора ехать, чтобы засветло поспеть в город, – говорит кто-то. Вещи уже все снесены в экипаж. Гувернантку тоже подсаживают. Еще одно долгое, нежное обниманье.

– Барышня, берегитесь, не попадите под лошадей! – кричит кто-то, и экипаж трогается.

Я взбегаю наверх, в угловую комнату, из окон которой видна вся длинная, с версту, березовая аллея, ведущая от дома на большую дорогу, и припадаю лицом к стеклу. Пока виден экипаж, я не могу оторваться от окна, и чувство моей собственной виновности все усиливается. Боже мой! Как мне жаль в эту минуту уехавшую гувернантку! Все мои столкновения с ней – а их было особенно много за это последнее время – кажутся мне теперь в совсем ином свете, чем прежде.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто, никто не любит!» – думается мне с поздним раскаянием, и всхлипывания мои становятся все громче и громче.

– Это ты о Маргарите так сокрушаешься? – спрашивает, пробегая мимо меня, брат Федя. В голосе его слышатся и удивление, и насмешка.

– Оставь ее, Федя. Это делает ей честь, что она такая привязчивая, – слышу я за собой наставительный голос старой тетки, которую никто из детей не любит, почему-то считая ее фальшивой. Как насмешка брата, так и слащавая похвала тетки действуют на меня одинаково неприятным, отрезвляющим образом. Я с детства не могла выносить, чтобы люди, мне равнодушные, утешали меня в сердечном горе. Поэтому я с гневом отталкиваю руку, которую тетка, в виде ласки, положила мне на плечо, и, пробормотав сердито: «Я вовсе не сокрушаюсь и я вовсе не привязчивая», – убегаю к себе в комнату.

Вид опустелой классной чуть было не пробудил во мне нового пароксизма отчаяния; только мысль, что никто не будет мешать мне теперь быть с моей сестрой сколько мне угодно, несколько утешила меня. Я решила тотчас же побежать к ней и посмотреть, что она делает.

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегаёт по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка

наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так хотелось знать, о чем-то думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю, наконец, терпение и делаю попытку заговорить.

– Анюта, мне очень скучно! Дай мне одну из твоих книжек почитать! – прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит. Опять несколько минут молчания.

– Анюта, о чем ты думаешь? – решаюсь я, наконец, спросить.

– Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты еще мала, чтобы я тебе все говорила, – получаю я презрительный ответ.

Теперь уже я в конец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала, я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать кому-нибудь о том, что ее так занимает, а так как ни с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

– Послушай, – говорит она, – если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я клянусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

– Пойдем в мою комнату, – говорит она торжественно. – Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором – я знаю – хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящичков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на котором вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Крюковской» и, наконец, подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что я думаю, я почти слово в слово могу передать его.

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо ваше, полное такого искреннего и милого доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа.

Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои первые литературные опыты на оценку. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в вас, что я боюсь, не нахожусь ли я и теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: «разовьется ли из вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же № моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и работайте; остальное покажет время.

Не скрою от вас – есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты.

Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить; общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе; сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно все это знать для правильной оценки вашего таланта.

Преданный Вам Федор Достоевский».

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что все это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

– Понимаешь ли ты, понимаешь! – заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения. – Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошою и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! – почти прокричала она в порыве неудержимого восторга.

Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились как к чему-то приходящему к нам издалека, из какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то проезжий журналист из Петербурга. И вдруг теперь сестра моя – писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой! И ему-то было суждено стать отцом писательницы.

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Растопчину. Он видел ее в Москве в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени – и мой отец в том числе – безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется в Баден-Бадене, в зале рулетки.

– Смотрю я, глазам не верю, – рассказывал часто отец: – идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею запанибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все до последнего золотого и кричит своим адъютантам: «Eh bien, messieurs, je suis videe! Rien ne va plus»¹⁶. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство!

¹⁶ Ну вот, господа, я опустошена! Больше ничего не будет (фр.).

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность, которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О-ва (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как, разумеется, под своим именем она печатать не могла).

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновику. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною.

Содержание этого рассказа было следующее. Героиня, Лиленька, живет среди людей пожилых, потрепанных жизнью и запрятавшихся в тихий уголок, чтобы в нем искать покоя и забвения. Такой же страх к жизни и ее тревожениям стараются они внушить и Лиленьке. Но ее манит и влечет к себе эта неизвестная жизнь, от которой до нее доносятся лишь смутные отголоски, как отдаленный плеск волны скрытого за горами моря. Она верит, что есть места,

Где люди живут веселее,

Где жизнью живут, а не ткут паутин.

Но как попасть к таким людям? Незаметно для самой себя Лиленька заразилась предрассудками той среды, в которой живет. Почти бессознательно представляется ей на каждом шагу вопрос: прилично ли барышне так поступать или нет? Ей бы хотелось вырваться из того тесного мира, в котором она живет, но все некомильфовое и вульгарное ее пугает.

Однажды на городском гулянье она знакомится с молодым студентом (разумеется, герой повести того времени должен был быть студентом). Этот молодой человек производит на нее глубокое впечатление, но она держит себя так, как прилично благовоспитанной барышне, и виду не показывает, что он ей нравится, и знакомство их так на этой встрече и обрывается.

Поскучала после этого Лиленька на первых порах, потом успокоилась, и лишь когда случайно, среди различных сувенирчиков ее бесцветной жизни, которыми, как у большинства барышень, набиты ящики ее комода, ей попадалась какая-нибудь безделушка, напоминающая этот незабвенный вечер, она торопилась захлопнуть ящик и потом весь день ходила недовольная и угрюмая. Но вот однажды приснился ей сон: пришел к ней студент и стал ее упрекать, зачем она не пошла за ним. Перед Лиленькой во сне проходит ряд картин жизни честной, трудовой, с милым ей человеком, в среде умных товарищей, жизни, полной теплого, ясного счастья в на стоящем и необъятного запаса надежд на будущее.

«Смотри и кайся! Такая была бы наша жизнь с тобой!» – говорит ей студент и исчезает.

Проснувшись Лиленька и под влиянием своего сна решила пренебречь заботой о том, что прилично для молодой девушки. Она, никогда до сих пор не выходившая из дому иначе, как в сопровождении горничной или лакея, уходит теперь тайком, берет первого попавшегося ваньку и едет в ту дальнюю бедную улицу, где – она знает – живет ее милый студент. После многих поисков и приключений, обусловленных ее неопытностью и бестолковостью, она находит, наконец, его квартиру, но там от жившего с ним вместе товарища узнает, что бедняга уже несколько дней назад умер от тифа. Товарищ рассказывает, как тяжела была его жизнь, какую нужду он терпел и как в бреду несколько раз поминал какую-то барышню. В утешение или в укор плачущей Лиленьке он говорит ей стихи Добролюбова:

Боюсь, чтобы и смерть не разыграла

Обидной шутки надо мной.

Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно

И так напрасно я живой,

Не улыбнулось мне отрадно

Над гробовой моей доской.

Вернулась Лиленька домой, и никто из ее домашних никогда не узнал, где она пропадала этот день. Но у нее самой навсегда сохранилось убеждение, что она прогуляла свое счастье. Она прожила недолго и умерла, сокрушаясь о даром потраченной молодости, которую и помянуть было нечем.

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который закончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зреее. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто.

– А ведь это, пожалуй, и правда! – сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу, – но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился, – прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печальная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история. Произошло это опять 5 сентября, достопамятный день в летописях нашего семейства. Собралось у нас, по обыкновению, множество гостей. В этот самый день ожидали почту, приходившую к нам в имение всего раз в неделю. Обыкновенно экономка, на имя которой Аня переписывалась с Федором Михайловичем, выходила встречать почтальона и отбирала от него свои письма, прежде чем он относил почту к барину. Но на этот раз она захлопоталась с гостями; на беду тот почтальон, который обыкновенно привозил почту, выпил маленько по случаю барынинных именин, т. е. оказался мертвецки пьяным, и на место его послали мальчика, не знавшего заведенных порядков. Таким образом, сумка с почтой попала в кабинет папаши, не подвергшись предварительному осмотру и очищению.

Отцу тотчас бросилось в глаза страховое письмо на имя нашей экономки со штемпелем журнала «Эпоха».

Что за притча такая? Он велел позвать к себе экономку заставил ее открыть письмо в своем присутствии. Можно или, лучше сказать, невозможно представить себе, что за сцена воспоследовала. На беду еще в этом именно письме Достоевский посылал сестре гонорар за ее повести: помнится, триста с чем-то рублей. Это обстоятельство, т. е. что сестра тайком ото всех получает деньги от незнакомого мужчины, показалось отцу таким позорным и обидным, что с ним сделалось дурно. У него была болезнь сердца да еще желчные камни в печени; доктора говорили, что всякое волнение для него опасно, может привести к внезапной смерти, и возможность подобной катастрофы была общим пугалом всех членов семейства. При всякой неприятности, которую дети ему причиняли, у него чернело лицо, и нами тотчас овладевал страх, что мы убьем его. А тут вдруг такой удар! И как нарочно – весь дом полон гостями!

В этом году в нашем уездном городе квартировал какой-то полк; по случаю маминих именин все офицеры с ними полковник съехались у нас и в виде сюрприза привезли полковых музыкантов.

Именинный обед уже часа три как кончился. В большой зале наверху были зажжены все люстры и канделябры, и гости, успевшие отдохнуть после обеда и переодеться к балу, начали сходитьсь. Офицерики, пыхтя тужась, натягивали белые перчатки; воздушные барышни в тарлатановых платьях и огромных кринолинах, бывших тогда в моде, вертелись перед зеркалами. Моя Аня в обычное время относилась свысока ко всему этому обществу, но теперь нарядная обстановка, бальная музыка, пропасть света, сознание, что она на балу самая красивая и нарядная, все это опьяняло ее. Забыв свое новое достоинство русской писательницы, забыв, как мало походят эти красные, потные офицерики на тех идеальных людей, о которых она мечтала, она кружилась между ними, улыбалась всем и каждому и наслаждалась сознанием, что всем им кружит головы.

Ждали только отца, чтобы начать танцы. Вдруг в комнату вошел человек и, подойдя к маме, сказал ей: «Их превосходительство нездоровы. Просят вас пожаловать к себе в кабинет».

Всем сделалось жутко. Мама поспешно встала и, подбирая рукой шлейф своего тяжелого шелкового платья, вышла из залы. Музыкантам, ожидавшим в соседней комнате условного знака, чтобы заиграть кадрили, приказали подождать.

Прошло полчаса. Гости начали беспокоиться. Наконец, вернулась мама. Лицо ее было красно и взволнованно, но она старалась казаться покойной и улыбалась принужденно, натянуто. На заботливые вопросы гостей: «что такое с генералом?» она отвечала уклончиво:

– Василий Васильевич почувствовал себя не совсем хорошо, просит вас извинить его и начать танцы без него.

Все заметили, что происходит что-то неладное, но из приличия никто не настаивал; к тому же всем хотелось поскорее танцевать, раз уже собрались и нарядились для этого. И вот танцы начались.

Проходя мимо матери в фигуре кадрили, Аня заботливо заглянула ей в глаза и прочла в них, что произошло что-то недоброе. Улучив минутку, в антракте между двумя танцами, она отвела мать в сторону и пристала к ней с расспросами.

– Что ты наделала! Все открыто! Папа прочел письмо Достоевского к тебе и чуть не умер на месте со стыда и отчаяния, – сказала бедная мама, с трудом сдерживая слезы.

Аня страшно побледнела, но мама продолжала:

– Пожалуйста, хоть теперь сдержи себя. Вспомни, что у нас гости, которые все рады про нас посплетничать. Поди и танцуй, как будто ничего не случилось.

Итак, мать и сестра продолжали танцевать почти вплоть до утра, обе вне себя от страха при мысли о той грозе, которой предстояло разразиться над их головами, лишь только разъедутся гости.

И, действительно, гроза разразилась ужасная.

Пока все не разъехались, отец никого не пускал к себе на глаза и сидел, запершись у себя в кабинете. В антрактах между танцами мать и сестра убегали из залы и прислушивались у его дверей, но войти не смели, а возвращались к гостям, терзаясь мыслью: что с ним теперь? не худо ли ему?

Когда все в доме утихло, он потребовал Аню к себе и чего-чего только не наговорил ей! Одна его фраза особенно врезалась ей в память:

– От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать! Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время – и себя будешь продавать!

Бедная Аня так и похолодела, услышав эти ужасные слова. Положим, она в душе сознавала, что это вздор; но отец говорил так уверенно, тоном такого глубокого убеждения; его лицо было такое убитое, сокрушенное, притом его авторитет в ее глазах все еще был так силен, что у нее невольно, хоть на минуту, явилось мучительное сомнение: не ошиблась ли она? Не совершила ли, сама не сознавая, чего-нибудь ужасного и непристойного?

Несколько дней после этого, как всегда бывало после всякой домашней истории, все в доме ходило как в воду опущенные. Прислуга сейчас обо всем проведала. Папашин

камердинер Илья, по своей похвальной привычке, подслушал весь разговор отца с сестрой и объяснил его по-своему. Весть о случившемся, разумеется, в преувеличенном и искаженном виде, разнеслась по всему околотку, и долгое время спустя между соседями только и было толков, что об «ужасном» поступке палибинской барышни.

Мало-помалу буря улеглась, однако. У нас в семье произошел феномен, часто повторяющийся в русских семьях: дети перевоспитали родителей. Начался этот процесс перевоспитания с матери. В первую минуту, как всегда бывало при столкновениях детей с отцом, она всецело взяла его сторону. Ей стало страшно, что он захворает, и она вознегодовала: как это может Анюта так огорчать отца! Видя, однако, что уговоры не помогают, а что Анюта ходит печальная и обиженная, ей стало жаль и ее. Скоро у нее явилось любопытство прочесть Анютину повесть, а потом тайная гордость, что ее дочь – писательница. Таким образом, ее сочувствие перешло на сторону Анюты, и отец почувствовал себя совсем одним. В первую минуту, сгоряча, он потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговаривали целыми днями, и сестра не являлась даже к обеду. Мать бегала от одного к другой, уламывая и уговаривая.

Наконец, отец сдался. Первым шагом его на пути уступок было то, что он согласился прослушать Анютину повесть.

Чтение происходило очень торжественно. Вся семья была в сборе. Вполне сознавая важность этой минуты, Анюта читала голосом, дрожащим от волнения. Положение героини, ее порывания вон из семьи, ее страдания под гнетом налагаемых на нее стеснений – все это так походило на собственное положение автора, что это каждому невольно бросалось в глаза. Отец слушал молча, не проронив ни слова во все время чтения. Но когда Анюта дошла до последних страниц и, сама едва сдерживая рыдания, стала читать, как Лиленька, умирая, сокрушалась о даром потраченной молодости, на глазах у него вдруг выступили крупные слезы. Он встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни в следующие дни он не говорил с Анютой о ее повести; он только обращался с ней удивительно мягко и нежно, и все в семье понимали, *que sa cause etait gag-nee*¹⁷.

Действительно, с этого дня в нашем доме началась эра мягкости и уступок. Первым проявлением этой новой эры было то, что экономка, которой отец сгоряча отказал от места, получила свое милостивое прощение и осталась при должности.

Вторая мера кротости была еще поразительнее: отец разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей лично с ним познакомиться.

Как уже было сказано, мать и сестра почти каждую зиму ездили в Петербург, где у них была целая колония тетушек, старых дев. Они занимали целый дом на Васильевском острове и при приезде матери и сестры отводили им у себя комнаты две-три. Отец оставался обыкновенно в деревне; меня тоже оставляли дома, на попечениях гувернантки. Но в нынешнем году, так как англичанка уехала, а новоприбывшая швейцарка еще не пользовалась достаточным доверием, то мать, к моей неописанной радости, решила и меня взять с собою.

Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая

¹⁷ Что ее дело выиграно (*фр.*).

под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

Сколько приготовлений было к этой дороге! На кухне стряпали и жарили столько вкусных вещей, что их хватило бы, кажется, на целую экспедицию. Повар наш славился во всем околотке своею слойкой, и никогда не прилагал он столько старания к этому делу, как когда готовил сдобные пирожки на дорогу господам.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимой эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше! Забудешься на минутку, вдруг проснешься от толчка, и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая, – все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг ярким лучом выступит в уме сознание: где мы, куда едем, и как много хорошего, нового предстоит впереди, – вся душа переполнится таким ярким, захватывающим счастьем!

Да, чудесная была эта дорога! И осталась она чуть ли не самым светлым воспоминанием моего детства.

Х. Знакомство с Ф. М. Достоевским

По приезде в Петербург Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

– Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность, – напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. – Достоевский – человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только – что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, a bout de ses

ressourcesx¹⁸, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

– Всегда-то, всегда-то все испортят! – повторяла она, судорожно рыдая.

Бедная мама чувствовал себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

– Вот ты всегда такая: ничем не довольна! Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты нас же винишь! – упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так наперед готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые, давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебывая друг друга, шутили и смеялись. Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже 43 года! – думала я. – Неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

– Какая у вас славная сестренка! – сказал вдруг Достоевский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила даже Достоевскому, что я пишу стихи: «право, право, совсем недурные для ее лет!» И, несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей.

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоевский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» – было ее первою мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того, что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами и то лишь под

¹⁸ Исчерпав свои возможности (фр.).

условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала.

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда – сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: «стреляй!» – когда вдруг, вместо того, забил барабан и пришла весть о помиловании.

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже, – о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.

Товарищ был атеист, Достоевский – верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

– Есть бог, есть! – закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

– И я почувствовал, – рассказывал Федор Михайлович, – что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог! – закричал я, – и больше ничего не помню.

– Вы все, здоровые люди, – продолжал он, – и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели, как намагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся:

– Не бойтесь, – сказал он, – я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой – помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии в мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки «О мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость – не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута; за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг занает старая рана, и ноет, и ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать: что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку.

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

– Федор Михайлович! Помилосердитесь! Ведь дети тут! – взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать его очень полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласил и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развестись в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер из старой памяти, *pour cette pauvre, chere Use*¹⁹.

Общество собралось у нас довольно большое, но очень разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на минутку под конец

¹⁹ Ради этой милой бедняжки Лизы (*фр.*).

вечера, однако слова не сдержал). Был также какой-то очень старый, лысый и очень важный сановник немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

– Она была очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не короша!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренне робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что случилось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение нехорошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

– Нет, пойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

– Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, – сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов; это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков. Он считался очень блестящим молодым человеком; был и красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе – все это как следует, в меру и не чересчур. И карьере он делал тоже как следует, не нахально быстро, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства. На правах родственника он ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной возможности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир, живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные стройные ноги. Потряхивая, эполетами и слегка наклоняясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», этого «самодовольного нахала», а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен!

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником, – параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают евангелие.

– Да разве евангелие написано для светских дам? – выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский. – Там вон стоит: «Вначале сотворил бог мужа и жену» или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак! А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек!

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и тарасили на него глаза. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость сказанного и все заговорили разом, желая заглушить ее.

Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам, мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но, при ее удивительной доброте и мягкости, она ни на кого не могла долго сердиться, а всего менее на такого человека, как Федор Михайлович, поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась.

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый. Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить.

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

– Да бросьте же шить! – скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье.

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

– Где вы вчера были? – спрашивает Федор Михайлович сердито.

– На балу, – равнодушно отвечает моя сестра.

– И танцевали?

– Разумеется.

– С троюродным братцем?

– И с ним, и с другими.

– И вас это забавляет? – продолжает свой допрос Достоевский.

Анюта пожимает плечами:

– За неимением лучшего и это забавляет, – отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

– Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! – решает он, наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды гораздо более крайние, чем каких действительно придерживались.

– Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! – кричал иногда Достоевский. – Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!

– Пушкин действительно устарел для нашего времени, – спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того, как отношения между Достоевским и моей сестрой, по-видимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью, – сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга она же нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

– У вас дрянная, ничтожная душонка! – горячился тогда Федор Михайлович, – то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде измене против сестры и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликованье каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

– Вы воображаете себе, что очень хороши, – говорил он сестре. – А ведь сестрица-то

ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотолы похвалы моей красоте.

– А ведь, может быть, это и правда, – говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их на ночь в две косы. Это дело требует времени; волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

– Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович! – начинаю я, наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

– А что такое? – спрашивает сестра рассеянно, очевидно, совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

– А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой, – говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

– А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? – спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную маленькую смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаваться.

– Бывают разные вкусы! – говорю я сердито.

– Да, бывают странные вкусы! – замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры, – думается мне и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: – Господи, боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой, – сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех *talents d'agrément*²⁰, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех пор я училась игре на фортепьяно, как учатся большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и умение скоро читать по нотам.

²⁰ Изящных, приятных талантов (*фр.*).

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась: вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилиет их до слез.

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упростила маму взять мне хорошую учительницу, и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепьяно, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит *la sonate pathetique*²¹ Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно, положив на нее пропасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится, – все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича.

Но, боже мой, что я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.

– Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты,

²¹ Патетическую сонату (*фр.*).

как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.

– Это ты, Соня? – окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.

Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное – стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.

Хотя мне и было всего 13 лет, я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет так, как шло эти месяцы.

«И вдруг, разом, все, все кончено!» – твердила я с отчаянием, и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!

Что такое кончилось, что изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!

«И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?» – упрекала я их с несправедливым озлоблением.

«Ну, и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!» – говорила я себе несколько секунд спустя, но слезы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль.

Время шло. Теперь мне бы хотелось, чтобы Анюта пришла за мной. Я негодовала на нее, зачем она не приходит. «Им дела нет до меня, хоть бы я умерла! Господи! Если бы мне в самом деле умереть!» И мне вдруг стало невообразимо жалко самое себя, и слезы потекли сильнее.

«Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!» – подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась на кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества.

Первые слезы, когда организм еще не привык к страданию, утомляют скоро. Пароксизм острого отчаяния сменился тупым оцепенением.

Из парадных комнат не доносилось до нашей спальни ни единого звука, но в соседней кухне слышно было, как прислуга собиралась ужинать. Стучали ножи и тарелки; горничные смеялись и разговаривали. «Всем весело, всем хорошо, только мне одной...»

Наконец, по прошествии, как мне казалось, нескольких вечностей, раздался громкий звонок. Это вернулись с обеда мама и тетушки. Послышались торопливые шаги лакея, идущего отворять; затем в передней раздались громкие веселые голоса, как всегда, когда возвращаются от гостей.

«Достоевский, верно, не ушел еще. Скажет ли Анюта сегодня маме, что случилось, или завтра?» – подумалось мне. А вот я и его голос различила в числе других. Он прощается, торопится уйти. Напряженным слухом я могу даже расслышать, как он надевает галоши. Вот опять захлопнулась парадная дверь, и вскоре после этого по коридору раздались звонкие

шаги Анюты. Она отворила дверь спальни, и яркая полоса света упала мне прямо на лицо.

Моим заплаканным глазам этот свет показался обидно, нестерпимо ярким, и чувство физической неприязни к сестре внезапно подступило к горлу.

«Противная! радуется!» – подумалось мне с горечью. Я быстро повернулась к стене и притворилась спящею.

Анюта, не торопясь, поставила свечу на комод, потом подошла к моей кровати и простояла несколько минут молча.

Я лежала, не шевелясь, притавив дыхание. – Ведь я вижу, что ты не спишь! – проговорила, наконец, Анюта.

Я все молчала.

– Ну, хочешь дуться, так дуйся! Тебе же хуже, ничего не узнаешь! – решила, наконец, сестра и стала раздеваться как ни в чем не бывало.

Помнится, мне снился в эту ночь чудесный сон. Вообще это очень странно: когда бы в жизни ни обрушивалось на меня большое, тяжелое горе, всегда потом, в следующую за тем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны. Но как тяжела зато бывает минута пробуждения! Грезы еще не совсем рассеялись; во всем теле, уставшем от вчерашних слез, чувствуется после нескольких часов живительного сна приятная истома, физическое довольство от восстановившейся гармонии. Вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что совершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться.

Много есть в жизни скверного! Все виды страдания отвратительны! Тяжел пароксизм первого острого отчаяния, когда все существо возмущается и не хочет покориться и постигнуть еще не может всей тяжести утраты. Едва ли не хуже еще следующие за тем долгие, долгие дни, когда слезы уже все выплаканы и возмущение улеглось, и человек не бьется головой о стену, а сознает только, как под гнетом обрушившегося горя у него на душе совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления.

Все это очень скверно и мучительно, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности – чуть ли не самые тяжелые из всех.

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее.

Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его не было. Вот мы уже и за обед сели, а он не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того, как время шло, и он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «Верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала и, не глядя на нее, спросила:

– Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

– Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться!

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая!» – подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

– Да перестань же, дурочка! Вот глупая! – повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом. – Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? – в человека, который в три с половиной раза ее старше! – сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудили в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

– Так неужели же ты не любишь его? – спросила я шепотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

– Вот видишь ли, – начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: – я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! – она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце, – но как бы тебе это объяснить! я люблю его не так, как он... ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! – решила она вдруг.

Боже! как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

– Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиняться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз, проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощанье было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил. Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» – наивно замечал Достоевский в конце своего письма.

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смиреннее обыкновенного. Но дорога стерла с души моей последние следы только что пережитой бури. Уехали мы в апреле. В Петербурге стояла еще зима; было холодно и скверно. Но в Витебске нас встретила уже настоящая весна, совсем неожиданно, в каких-нибудь два дня вступившая во все свои права. Все ручьи и реки выступили из берегов и разлились, образуя целые моря. Земля таяла. Грязь была невообразимая. По шоссе все шло кое-как, но, доехав до нашего уездного города, нам пришлось оставить на постоялом дворе нашу дорожную карету и нанять два плохих таранасика. Мама и кучер ехали и беспокоились: как-то мы доберемся! Мама главным образом боялась, что отец будет упрекать ее, зачем она так долго засиделась в Петербурге. Однако, несмотря на все аханья и стоны, ехать было отлично.

Помню я, как мы уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось.

Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обоих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не прикрикивал на лошадей: слышалось только шлепанье их подков по грязи да слабое, порывистое бряцанье бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебристым светом, да так ярко и так неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы как бы по обоюдному соглашению, прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки по-прежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна!

Главы, не вошедшие в русское издание «Воспоминаний детства» 1890 г

\Палибино

Та местность, где находилось имение Круковских, была очень дика, но более живописна, чем большинство местностей средней полосы России. Витебская губерния известна своими громадными хвойными лесами и множеством больших красивых озер. По некоторым ее уездам проходят еще последние отроги Валдайской возвышенности, так что в ней нет еще таких громадных равнин, как в центре России, а напротив того, весь пейзаж носит характер извилистый и волнистый. Камня, разумеется, мало, как и всюду в России; случается, однако, что вдруг среди ровного поля или поемного луга с травой в рост человека совсем неожиданно натолкнешься на большую гранитную глыбу. Эта глыба так странно выступает из окружающей ее сочной зелени, так не подходит под мягкий округленный характер остального пейзажа, что, увидя ее, невольно спросишь себя: какими судьбами попала она сюда? Невольно приходит в голову: не памятник ли она, оставленный по себе какими-то неведомыми, может быть, сверхъестественными существами? И в самом деле, геологи утверждают, что глыба эта здесь заносная гостья, что она принесена сюда издалека и действительно представляет собой интересный памятник – только не вымершего народа и не сказочных гномов, – но того великого ледникового периода, когда громадные скалы отрывались, как мелкие песчинки, от берегов Финляндии и переносились на громадные расстояния под всеокрушающим напором медленнодвигающегося вперед льда.

Почти к самой усадьбе Круковских примыкал с одной стороны лес. Вначале расчищенный и похожий на парк, он становился мало-помалу все гуще и непроходимее и сливался наконец с громадным казенным бором. Этот последний тянулся на целые сотни верст в окружности и, с памяти человека, не стучал в нем топор иначе, как разве когда ночью, исподтишка, в руках вора-крестьянина, пришедшего попользоваться казенным деревом.

Про лес этот ходили в народе странные легенды, в которых трудно было отличить, где кончается правда, где начинается миф. Водилась в нем, разумеется, как во всех русских лесах, разная лесная нечисть: лешие и русалки; но хотя в существовании их мало кто сомневался, однако, по правде сказать, кроме деревенской дурочки Груни да старого знахаря Федота, кажется, никто не видал их воочию. Зато гораздо больше было людей, которые могли порассказать о встрече в лесу с тем или другим недобрым человеком. По слухам, в

самой чаще леса существовали целые притоны разбойников, конокрадов и беглых солдат, и не поздоровилось бы становому и исправнику, если бы кому из них вздумалось заглянуть на то, что делается в лесу ночью. Что же касается волков, рысей и медведей, то редкий из местных жителей не имел хоть раз в жизни случая убедиться собственным опытом, что они-то, по крайней мере, несомненно водятся в лесу.

Надо, сказать, впрочем, что медведи жили с окрестными крестьянами в довольно миролюбивых отношениях. Разве когда ранней весной или поздней осенью услышишь, что медведь задрал у мужика корову или лошадь; обыкновенно же мишка довольствовался тем, что таскал у своих соседей снопы овса с поля или мед из их пчельника. Редко, редко пронесется вдруг слух, что медведь облапил мужика, да и то всегда потом окажется, что виноват был сам мужик, который первый задел бедного мишку.

К лесу многие питали почти суеверный страх. Если случалось, бывало, в одной из окрестных деревень, что какая-нибудь крестьянка хватится вечером своего ребенка, первое, что придет ей в голову, – это то, что он в бору заплутался, и начнет она голосить по нем, как по мертвому. Ни одна горничная в доме Круковских не решилась бы пойти в лес одна без спутника; но обществом, особенно в сопровождении молодых лакеев, они, конечно, охотно бегали в лес. Отважная гувернантка англичанка, страстно любившая моцион и длинные прогулки, отнеслась сначала свысока ко всем рассказам про лес, которыми стали пугать ее тотчас по ее приезде к Круковским, и решила, что будет ходить в лес гулять, что бы пугливые бабы про него не болтали. Но когда однажды осенью, отойдя одна со своими воспитанницами на расстояние не более часа от дома, она вдруг услышала в лесу треск и вслед за тем увидела огромную медведицу, которая с двумя медвежатами переходила через дорогу, в шагах пятидесяти от нее, – она должна была сознаться, что не все преувеличено в рассказах про лес, и с тех пор и она не стала отваживаться (уходить) далее опушки иначе, как в сопровождении кого-нибудь из лакеев.

Но не все только страшное приходило из леса. Были в нем неисчерпаемые запасы всякого добра. Водилось в нем несметное количество дичи – зайцев, тетеревов, рябчиков, куропаток. Иди себе охотничек и постреливай только; и самый неумелый, со старой кремневой винтовкой, и тот может рассчитывать на добычу. Летом разной ягоде конца не было. Сначала пойдет, бывало, земляника, которая, правда, поспевает в лесу несколько позже, чем на полях, но зато бывает гораздо сочнее и душистее. Не успеет она отойти, как уже, смотришь, пошла голубица, костяника, малина, потом брусника; а тут, того и гляди, подспеют орехи, а затем начинается грибное раздолье. Подберезовиков и подосинок попадается немало и летом, но для груздей, для боровиков, для рыжиков настоящая пора осень. На баб, на девок да на ребятишек во всех окрестных деревнях находит в это время просто иступление какое-то. Из леса их силой не вытащишь. Целой гурьбой отправляются они в него с восходом солнца, вооруженные корзинами, чашками, лукошками, и до позднего вечера их и не жди домой. И жадность же у них какая является! Уж сколько, кажется, добра понатащали они сегодня из лесу, а все им мало! – завтра, чуть забрезжит свет, уж их опять в лес так и тянет. На сборе грибов все их мысли помутились; из-за грибов они все и домашние и полевые работы побросать готовы.

В доме Круковских тоже предпринимались иногда, – летом, во время земляники, или осенью, в грибную пору, – целые экспедиции в лес. В них участвовали все домашние, за исключением только самих барина и барыни, которые оба не были охотниками до подобных сельских удовольствий.

С вечера сделаны все распоряжения. На следующее утро, с первым лучом восходящего солнца, уже подъезжают две-три телеги к крыльцу. В доме начинается веселая, праздничная суетня. Горничные бегают, торопятся, сносят и уставляют в телеги посуду, самовар, разную провизию, чай, сахар, миски, полные пирожков и ватрушек, вчера еще напеченных поваром. Сверх всего остального набрасывают пустые корзины и кузова, предназначенные для будущего сбора грибов. Дети, поднятые с постель не в привычный час, с заспанными лицами, по которым только что прошла мокрая губка, заставляя их заплыть ярким

румянцем, бегают тут же. От восторга они не знают, что и начать, за все хватаются, мешают всем и умудряются каждому непременно попасться под ноги. Дворовые собаки, разумеется, не менее заинтересованы в предстоящей поездке. С самого утра они уже находятся в состоянии нервного возбуждения; шныряют между ногами, заглядывают людям в глаза, зевают протяжно и громко. Наконец, утомленные волнением, они растягиваются на дворе перед крыльцом, но вся их поза выражает напряженное ожидание; беспокойными взорами следят они за всем, что происходит, при первом знаке готовы вскочить и помчаться. Вся интенсивность их собачьей природы сосредоточена теперь на одной мысли: как бы господа не уехали без них!

Вот, наконец, сборы кончены. В телегах разместились как попало гувернантка, учитель, дети, штук 10 горничных, садовник, человека 2–3 из мужской прислуги, да штук пять дворовых ребятишек. Вся дворня пришла в волнение; каждому хочется участвовать в веселой поездке. В последнюю минуту, когда уже телеги было тронулись, прибежала вдруг судомойкина дочка, пятилетняя Аксютка, и подняла такой рев, увидя, что matka ее уезжает, а она остается, что пришлось и ее посадить в телегу.

Первый привал назначен у сторожки лесника, верстах в десяти от усадьбы Круковских. Телеги едут мелкой рысцой по вязкой лесной дорожке. Только в передней из них сидит на облучке настоящий кучер; остальными правят добровольцы, которые поминутно перебивают друг у друга вожжи из рук и не попадая дергают лошадь то вправо, то влево. Внезапный толчок. Телега наехала на толстый корень. Всех подбросило кверху. Маленькая Аксютка чуть и совсем не вылетела; едва-едва успели ухватить ее за ворот платья, как хватают щенка за шиворот. На дне телеги послышался зловеющий звон битого стекла.

Лес становится все гуще, все непроницаемое. Куда ни глянешь – всюду ели, мрачные, высокие, с темно-бурыми корявыми стволами, прямыми, как исполинские церковные свечи. Только по краям дороги ползет мелкий кустарник – орешина, бузина и преимущественно ольшина. Кое-где мелькнет трепещущийся, раскрасневшийся к осени осиновый лист или ярко вспыхнет обремененная гроздьями живописная рябина.

Из одной из телег раздаются вдруг громкие испуганные ахи! Тот, кто сидит в ней вместо кучера, задел своей шапкой молодую, еще мокрую от росы ветку березы, низко перевесившуюся над дорогой. Ветка раскачнувшись и с размаха хлестнула всех сидящих в телеге, обдав их мелкими душистыми брызгами. Смеху, шуткам, остромам конца нет.

Вот и сторожка лесника виднеется. Изба его крыта тесом и на вид несравненно уютнее и чище, чем обыкновенные избы у белорусских мужиков. Она стоит на небольшой полянке и (редкая роскошь у крестьян в этой местности) окружена небольшим огородом, в котором среди кочанов капусты пестреют головки мака и сияют два или три ярко-желтых подсолнечника. Те несколько яблонь, которые висят среди огорода, обремененные румяными яблоками, составляют особенную гордость своего хозяина, так как он сам пересадил их из леса дичками, потом привил их и теперь может поспорить своими яблоками с любым из соседей помещиков. Леснику уже лет под семьдесят; борода у него длинная, совсем белая, но вид у него еще бодрый, очень важный и степенный. Ростом и всем сложением он крупнее большинства мизерных белорусов, и на лице его как будто отражается окружающий лес с его ясным, величавым спокойствием. Детей своих он всех уже пристроил: дочек выдал замуж, сыновей определил к какому-нибудь ремеслу на стороне. Теперь он живет один со своей старухой да с приемышем, взятым им на старости, мальцом лет пятнадцати.

Завидя господ еще издали, старуха побежала ставить самовар; когда же телеги подъехали к крыльцу, и она и старик вышли им навстречу, кланяясь в пояс и прося дорогих гостей не побрезгать их чаем. Внутри изба тоже чистая и прибранная, хотя воздух в ней все же спертый и пропитанный запахом ладана и деревянного масла от лампы, так как окошечки в ней, из боязни морозов зимой, совсем крошечные и отворяются плохо. После свежего лесного приволья в первые минуты кажется здесь и дышать нельзя, но в избе так много интересного, что дети скоро свыкаются с ее тяжелым воздухом и начинают с

любопытством оглядываться по сторонам. По глиняному полу рассыпаны еловые ветки; вдоль всех стен идут лавки, по которым прыгает теперь ручная галка, с подрезанными крыльями, нисколько не смущаясь присутствием большого черного кота, очевидно своего хорошего приятеля. Этот последний сидит на задних лапах, умываясь одной из передних, и с притворным равнодушием оглядывает гостей сквозь полузажмуренные веки. В переднем углу стоит большой деревянный стол, покрытый белой скатертью с вышитым бортом, а над ним высится громадный киот с удивительно безобразными и очевидно необычайно древними образами. Про лесника говорят, что он раскольник и что именно благодаря этому-то обстоятельству он и живет так опрятно и так богато, потому что известно, что раскольники никогда не ходят в кабаки и придерживаются большой чистоты в своих жилищах. Говорят тоже, что леснику приходится ежегодно откупаться недешево и от исправника и от сельского попа, чтобы они не вмешивались в его религиозные убеждения, не принуждали его ходить в православную церковь и не следили за тем, посещает он или нет раскольничьи молельни. Еще рассказывают про него, что он сам никогда не съест куска в православном доме, а что у себя он держит для православных гостей особую посуду. Хотя бы эти гости были и господа, он ни за что не подаст им ничего в той чашке, из которой сам ест, – это значило бы осквернить чашку совсем так же, как если бы из нее поела собака или другое нечистое животное. Детям ужасно бы хотелось знать, правда ли, что «дядя Яков» (так они зовут лесника) брезгует ими, но они не решаются его спросить.

Дядю Якова они очень любят. Быть у него считается большим удовольствием; когда же он иногда заходит в гости к ним в Палибино, то всегда приносит им какой-нибудь подарок, более подходящийся им по вкусу, чем самые дорогие игрушки. Так, например, раз он привел с собой молодого лося, который долго потом жил у них за загородкой в парке, но совсем ручным никогда не сделался.

Огромный медный самовар пытит на столе, на котором расставлены разные необыкновенные кушанья: варенец²², лепешки с маком, огурцы с медом, все такие лакомства, которые никогда не достаются детям иначе, как только у дяди Якова. Лесник усердно угощает своих гостей, но сам ни до чего не дотрогивается (значит, правда, что брезгует, думают дети) и ведет степенную, неторопливую беседу с учителем. В его белорусской речи попадает немало выражений, непонятных для детей, но они все же ужасно любят слушать, как дядя Яков говорит: он знает так много про лес, про зверей в нем, про то, что каждый зверь думает.

Теперь уже около шести часов утра. (Как странно: в обыкновенные дни спишь еще в постельке в это время, а сегодня уж чего, чего только не было!) Мешкать нельзя больше. Вся компания вразброд рассыпается по лесу, перекрикиваясь и аукая время от времени, чтобы не разойтись слишком далеко и не заплутаться в лесу.

Кто-то наберет всех больше грибов? Этот вопрос волнует теперь всех; у каждого разгорелось самолюбие. Соне кажется в эту минуту, что нет ничего важнее на свете для нее, как поскорей наполнить свою корзинку. «Господи, пошли мне много, много грибов!» – думает она, невольно влагая ужасно много страсти в эту молитву и, завидя издали красную чашечку подосиновика или черную головку подберезовика, со всех ног кидается в ту сторону, чтобы неравно кто не перебил у ней намеченную добычу. А сколько у ней бывает разочарований! То примет она сухой лист за гриб, то вдруг покажется ей плотная, светло-бурая шапочка боровика, скромно выползающая из моха. Схватит она ее с восторгом – глядь, а снизу не сплошное белое доньшко, а глубокие разрезные бороздки. Оказывается, это просто молоденький, никуда не годный валуй принял сверху обманчивый вид боровика! Но всего обиднее для Сони, если она пройдет по какому-нибудь месту, ничего не заметя, а востроглазая Феклуша, чуть не из-под носу у ней, выхватит молоденький прелестный

²² Русское кушанье: простокваша каким-то особым образом запекается в печке и через это становится очень жирною и вкусною. (Примеч. С. В. Ковалевской.)

грибок. Эта несносная Феклуша! Она словно чутьем узнает, где гриб, просто из-под земли их выкапывает. У ней уже верхом полна вся корзина, и притом все больше белыми или рыжиками, подосинок – и тех мало, а лисичек, масляток и сыроежек она вовсе не берет. И что у ней за грибы! Все как на подбор – маленькие, чистые, красивенькие, – хоть сырыми их ешь! У Сони же корзина полна всего только наполовину, и то вон сколько в ней больших, дряблых шляпух, которых и показать стыдно...

В три часа опять привал. На полянке, на которой пасутся распряженные лошади, кучер развел костер. Лакей бежит к ближнему ручью наполнять взятые с собой графины водой. Горничные разостлали на земле скатерть, ставят самовар, расставляют посуду. Господа садятся отдельной кучкой, прислуга, из почтения, размещается немножко поодаль от них. Но это разделение длится только первые четверть часа. Сегодня день такой особенный, что никаких сословных различий как будто и не существует. У всех один и тот же всепоглощающий интерес: грибы. Поэтому все общество скоро опять перемешивается. Каждому хочется похвастаться собственной добычей и посмотреть, что-то нашли другие. К тому же у всех теперь так много есть что порассказать друг другу; у каждого были свои приключения: кто вспугнул зайца, кто подсмотрел норку барсука, а кто чуть-чуть не наступил на змею.

Поевши и отдохнув немножко, опять идут по грибы. Но прежнего воодушевления уже нет. Усталые ноги тащатся с трудом. Большая корзина, хотя в ней теперь и мало грибов, вдруг стала так тяжела, что совсем оттягивает руку. Воспаленные глаза отказываются служить: то вдруг так ясно померещится гриб там, где его нет, а мимо настоящего гриба пройдешь, совсем его не заметишь.

Соня теперь уже равнодушна к тому, наполняется ли ее корзина или нет, но зато она стала гораздо восприимчивее к другим впечатлениям леса. Солнце уже близко к закату; косые лучи скользят промеж голых стволов, окрашивая их в кирпично-бурый цвет. Маленькое лесное озеро с совсем плоскими берегами так неестественно спокойно и тихо, точно заколдованное. Вода в нем темная-темная, почти черная, только в одном месте алеет на ней ярко-багровое, точно кровавое, пятно.

Пора домой. Все общество опять сходится у телег. Днем все так были заняты каждый своим делом, что никто не обращал внимания на других. Теперь все смотрят друг на друга и вдруг раздражаются громким, неудержимым смехом. Бог знает, на что все стали похожи! За этот день, проведенный на воздухе, все успели загореть; лица у всех обветрились и пылают. Волосы растрепаны, костюмы пришли в беспорядок неописанный. Отправляясь в эту лесную экспедицию, и барышни и горничные облачились, разумеется, в свои самые старые платья, которые нечего больше беречь. Но поутру все это сходило кое-как с рук; теперь же и глядеть смешно. Кто растерял в лесу ботинки, у кого наместо юбки болтаются какие-то беспорядочные лохмотья. Всего фантастичнее головные уборы. Одна из девушек воткнула большую гроздь ярко-красной рябины в свои черные спутанные косы; другая устроила себе род каски из листа папоротника; третья воткнула на палку чудовищный мухомор и держит его над собой в виде зонтика.

Соня опутала себя всю гибкою веткою лесного хмеля; желтовато-зеленые шишки его перепутались с ее каштановыми, беспорядочно рассыпавшимися по плечам волосами и придают ей вид маленькой вакханки. Щеки ее пылают, и глаза так и искрятся.

«Да здравствует ее величество, цыганская королева!» – говорит брат Федя, насмешливо преклоняя перед ней колено.

Взглянув на нее, гувернантка тоже должна сознаться со вздохом, что она действительно более походит на цыганку, чем на благовоспитанную барышню. А если бы гувернантка знала только, как дорого дала бы в эту минуту сама Соня, чтобы вдруг превратиться в настоящую цыганку! Это день в лесу пробудил в ее душе столько диких, кочевых инстинктов. Ей бы хотелось никогда не возвращаться домой, всю жизнь проводить в этом чудном, милом лесу. Сколько грез, сколько фантазий о дальних путешествиях, о небывалых приключениях роятся в ее голове...

Возвращение домой совершается в большой тишине. Нет теперь ни веселых криков, ни взрывов смеха, как поутру. Все устали, все присмирели, и на всех нашло какое-то странное, почти торжественное настроение духа. Некоторые из девушек затянули песню, такую тихую и заунывную, что у Сони вдруг защемило сердце той странной беспричинной тоской, которая часто находит на нее после минут сильного возбуждения. Но в этой тоске столько своей собственной, своеобразной прелести, что она не променяла бы ее на шумную радость.

Вернувшись домой и лежа в своей кровати, Соня, несмотря на усталость, долго не может уснуть. В каком-то лихорадочном состоянии между сном и бдением она все еще видит перед собою лес. Она видит его теперь, пожалуй, еще отчетливее, лучше схватывает общее очертание и в то же время яснее подмечает детали, чем днем, в действительности. Много разных мимолетных впечатлений, которые тогда только скользнули по ней, не дойдя вполне до ее сознания, теперь возвращаются живо и назойливо. Вот вырисовывается из темноты громадная муравьиная куча. Каждая еловая хвоя на ней выступает так рельефно, что Соня, кажется, могла бы ее приподнять. Хлопотливые муравьи тащат за собой белые яйца быстро и озабоченно, пока вдруг все куда-то не исчезают вместе с своей кучей, а на место их появляется белый мягкий комочек, похожий на большой ком снега. Соня видит теперь, что он весь состоит из мелких, мелких паутинок, а в самой середине его чернеется темное пятнышко. Ей хочется схватить комок рукой, но не успела она это подумать, как черное пятнышко в середине приходит в быстрое движение и от него во все стороны рассыпаются черные точки, словно радиусы от центра к поверхности. Но это не точки, а черные крошечные паучки, которые все вдруг забегали и засуетились. Соня, действительно, нашла сегодня поутру такой странный комочек, но тогда она его почти не заметила, а вот теперь он представился ей так живо, как настоящий...

И долго ворочается в своей кровати усталая Соня и все не может отвязаться от назойливых видений, пока не засыпает, наконец, тяжелым, свинцовым сном.

Этот лес, игравший такую роль в детских впечатлениях Сони, примыкал к их усадьбе с одной стороны; с другой же лежал сад, спускавшийся к озеру, а за ним тянулись поля и луга. Кое-где из зелени выглядывали небольшие деревушки, более похожие на норки животных, чем на селенья людей. Земля в Витебской губ. далеко не такая плодородная, как в черноземной полосе России и Малороссии. Белорусские крестьяне известны своей бедностью. Недаром же император Николай, проезжая однажды через эти места, назвал Белоруссию бедной красавицей, в противоположность Тамбовской губернии, которую он окрестил богатой купчихой.

Среди этой дикой, малонаселенной местности странно выступал Палибинский дом, с его массивными каменными стенами, с его причудливой архитектурой, с его террасами, окаймленными летом гирляндами роз, с его обширными оранжереями и парниками.

Летом было еще кое-какое оживление в крае, но зимою он весь как бы замирал и становился безлюдным. Снег заметал все дорожки сада и громадными сугробами накапливался к самому лесу. Куда ни глянешь, бывало, из окон, всегда белая безжизненная равнина. Часами не видно никого на большой дороге; кое-где проташатся по ней мужицкие дровни, запряженные тощей, заиндевевшей от холода клячонкой, потом опять долго-долго нет на ней признака жизни или движения, словно замерло все.

Волки подходили иногда по ночам совсем близко к дому.

Сидит, бывало, вся семья Круковских за вечерним чаем. В большой зале рядом зажжена хрустальная люстра, и пламя свечей весело отражается и множится в больших стальных зеркалах. Вдоль стен расставлена дорогая штофная мебель. Перед окнами причудливо вырисовываются большие разрезные листья пальм и других оранжерейных растений. По столам разбросаны книжки и иностранные журналы.

Чай уже отпит, но детей еще не успели спать. Василий Васильевич курит трубку и раскладывает гранпасьянс. Елизавета Федоровна сидит за фортепьяно и разыгрывает сонату Бетховена или романс Шумана. Аня расхаживает взад и вперед по зале, уносясь воображением далеко, далеко от действительности. Она видит себя среди блестящего

общества царицей бала...

Вдруг в дверях показывается Илья. Он молчит, но переминается с ноги на ногу – его всегдашняя привычка, когда он собирается сообщить что-нибудь особенное.

«Что тебе надо, Илья?» – окликает его, наконец, Василий Васильевич.

«Ничего-с, ваше превосходительство, – отвечает Илья с какой-то странной улыбкой. – Я пришел только доложить, что волков собралось много на нашем озере. Не любопытствуют ли господа послушать?»

При этом известии дети приходят, разумеется, в неопишное волнение и умоляют, чтобы им позволили выйти на крыльцо. Выказав некоторые опасения, как бы они не простудились, отец, наконец, сдается на их просьбы. Детей одевают в теплые шубки, голову им обвязывают пуховым платком, и вот они выходят на террасу, сопровождаемые Ильей.

Чудная зимняя ночь. Мороз такой сильный, что дух захватывает. Хотя луны и нет, но все же светло от массы снега и от мириад звезд, которые, словно крупные гвозди, так и понатыканы по всему небу. Соне кажется, что она еще никогда не видела таких ярких звезд, как сегодня. Они словно перекидываются друг с дружкой лучами и каждая из них так удивительно мерцает, то вспыхнет вдруг ярко, то снова на мгновение потускнеет.

Куда ни взглянешь – всюду снег, всюду целые массы, целые горы снега, который все прикрывает и все приравнивает. Ступенек террасы не видать совсем; не заметно даже, чтобы она возвышалась над остальным садом; теперь все превратилось в одну белую ровную равнину, незаметно сливающуюся с замерзшим озером.

Но всего удивительнее тишина в воздухе, глубокая, ничем не нарушимая. Дети стоят так несколько минут на крыльце, но все еще ничего не слышно. Ими начинает овладевать нетерпение. «Где же волки?» – спрашивают они.

«Присмирели что-то, как нарочно, – с досадой отвечает Илья. – Но обождите только, авось сейчас опять начнут».

И действительно, вдруг раздается протяжный, с переливами вой, ему тотчас же отвечает несколько других голосов, и вот теперь со стороны озера доносится хор, такой странный, такой неестественно заунывный, что сердце невольно сжимается.

«Вот, вот они, голубчики! – с торжеством восклицает Илья. – Запели свои песенки. И с чего это полюбились им наше озеро? В ум не могу взять. Как ночь, так уж выходят они на него целыми десятками».

«Ну что, друг Полкан! – обращается он вдруг к общему любимцу, огромному водолазу, который тоже выскочил за детьми на крыльцо. – Не хочешь ли и ты к ним? Не желаешь ли ты присоединиться к ним и попробовать немного волчьих зубов?»

Но на собаку этот волчий концерт производит, по-видимому, страшное впечатление. Обычно такая бойкая и готовая всегда к драке, она теперь прижимается к детям с опущенным хвостом, и весь вид ее выражает непреодолимый страх.

Детей тоже начинает угнетать этот своеобразный дикий хор. Они чувствуют, как их пронизывает нервная дрожь, и торопятся вернуться в теплую, уютную комнату.

\Кузен Мишель\

Был конец мая. День склонялся к вечеру. Уроки все были кончены. Из открытых окон вносился в комнаты запах только что распустившихся роз, кусты которых гирляндой окружали верхнюю террасу сада. На большой дороге поднялось облако пыли, послышалось мычанье и блеянье: это пастух загоняет домой стадо. В людской раздаются зычные раскаты голоса ключницы Дарьи, встречающей по своему обыкновению бранью собирающихся к ужину работников.

Мало-помалу голоса унимаются. Из рощи за садом начинают доноситься звуки гармоники – обычное веселье всех садовников. Яркая полоса заката на западе постепенно бледнеет. С лугов подымается туман; черные тени ползут со всех сторон.

Я стою в верхней угольной комнате, с которой открывается вид на всю окрестность, и

не спускаю глаз с большой дороги. Но с каждой минутой мой кругозор суживается, становится все трудней и трудней различать предметы.

Вся остальная семья тоже тут. В комнате совсем стемнело, трудно уже разглядеть лица. Только огонек папиной трубки вдруг внезапно вспыхивает ярко от его напряженного вдыхания и освещает на секунду его худое смуглое лицо, которое, когда он курит, всегда принимает особенно сосредоточенное, суровое, глубокомысленное выражение, и его худую, несколько сгорбленную фигуру в сером халате с генеральскими полосами.

О свечах все как будто забыли. Разговор совсем не клеится. Кто задумался, кто задремал. Стало совсем темно. Все молчат, и дружный металлический писк комаров сливается в один общий протяжный гул. Но вот стук открывшейся двери заставляет всех встрепенуться. Врасплох разбуженная левретка Гризи с негодующим лаем бросается навстречу вошедшему.

– Уже одиннадцатый час. Прикажете подавать ужин или будем еще ждать? – спросил появившийся в дверях Илья.

– Неужто уже так поздно! Должно быть они сегодня не приедут, – говорит, потягиваясь в кресле и подавляя легкий зевок, мама.

– Да, ждать больше нечего! Подавай ужин, – решает папа.

У меня падает сердце. Значит, на сегодня нет больше надежды. Придется так и отправиться спать, не дождавшись.

«А вдруг они и совсем не приедут и завтра. На место их кучер привезет письмо, что тетя раздумала, что что-нибудь помешало!» – проносится у меня в голове отчаянная мысль.

Мы ждем сегодня из Москвы тетю Маню с ее сыном, которые обещали провести у нас все лето. Впрочем, мы только так называем ее тетей, в сущности же она почти и не родственница, а просто вдова папиного двоюродного брата; я ее и не видала с самого детства; но так как она находилась в постоянной переписке с моими родителями, и я уже много слышана о ней, то и мой 16-летний cousin Michel уже давно занимал мои мысли. Из тетиных писем нам всегда прочитывались вслух те места, которые касались его, а так как тетя только и жила для сына, то и в письмах ее ему отводилось немало места. В молодости тетя была гувернанткой, покойный дядя влюбился в нее и женился на ней наперекор всем своим родным, с которыми он даже перессорился из-за этого. Дядя был человек с большим состоянием и по рассказам – очень умный, но и очень взбалмошный.

Женившись и перессорившись со всей родней, он вышел в отставку из гвардии и пустился в предприятия. Выучившись самоучкой химии, он тотчас выдумал способ гнать водку из деревянных опилок; но вот какая вышла беда. Пока он работал в своей лаборатории, опыты удавались превосходно; лишь только он построил большой завод, ухлопав в него тысяч пятьдесят, водка вдруг заупрямилась и перестала идти. Дядя заупрямился тоже и решил во что бы то ни стало настоять на своем и заставить глупую водку вести себя, как ему хотелось. Водка упиралась, дядя горячился, делал все новые и новые усовершенствования в своем заводе, подписывал векселя, закладывал именья. Кто знает, чем бы кончилось дело, если бы вдруг в спор не вмешалась смерть и не прихлопнула дядю совсем внезапно, в самом разгаре его борьбы с водкой.

По смерти его тетя Маня очутилась не в блестящем положении. Завод стоит, именье заложено, кредиторы осаждают со всех сторон. Доброжелательная родня мужа участливо качает головой: «Чего ж и ожидать было от такого сумасброда, который на гувернантке женился!» У дяди оставалась в живых мать, властолюбивая старуха, у которой было свое довольно большое состояние. После женитьбы сына она, разозлившись, совсем прервала с ним сношения, но когда он умер, зашевелилось в ней родительское сердце, и решила она внука к своим рукам прибрать. Она послала сказать невестке, пусть, дескать, перебирается немедленно к ней на житье с сыном. Сделав это предложение, старуха вместе со всеми окружавшими ее приживалками сама умилилась своему великодушию.

Привыкши к тому, чтобы все ее желания исполнялись немедленно, тотчас выслала она подводу за невесткой, отписав ей, чтоб она приезжала немедленно: «Вещей много не бери и с

тряпками своими не возись. Приезжай как в чем есть».

Что невестка может не принять предложения, никому не входило в голову. Тетя Маня с молодости была известна как девушка кроткая, безобидная, всегда подчинявшаяся чужой воле. «Да что ж ей теперь и делать-то осталось! Она за вас, сударыня, всю жизнь бога должна молить! Без вас пришлось бы ей с ребенком побираться по чужим людям!» – говорили приживалки. И вдруг, к общему consternation²³, возвращается подвода без тети Мани. От нее только письмо, почтительное, но твердое. «Благодарю вас, маменька, за вашу доброту и ласку. Но должна я сперва в порядок дела покойного моего мужа привести, а что потом буду делать, еще не решила».

Прочитала это письмо старуха-бабушка, так разгневалась, что с досады в постель легла и три дня так, не вставая, и пролежала. На четвертый день встала, причесалась, оделась, как ни в чем не бывало, и велела, чтобы при ней никто про мерзавку и поминать не смел. Попробовала бабушка и в губернии хлопотать, и у предводителя дворянства, чтобы похлопотал, нельзя ли тетю Маню от опеки над сыном отставить. Но так как завещание покойного дяди, назначавшего жену полной опекуной, было в порядке, то она в своих стараниях не успела и наговорила грубостей и дворянскому предводителю, и губернатору, и, рассорившись со всеми, так ни с чем и вернулась.

Тетя Маня между тем обнаружила энергию борьбы. Откуда у ней, бывшей гувернантки, кисейной барышни, вдруг неожиданно-негаданно открылась практичность – бог ее знает. Во всяком случае, она повела свои дела так умно, как только возможно было при данных обстоятельствах.

Завод она тотчас закрыла, выхлопотала разрешение опеки продать имение и нашла выгодного покупателя; таким образом, по ликвидации всех счетов оказался у ней капитал тысяч в сорок. Тогда тетя объявила, что в наших краях оставаться не намерена, а переедет в Москву и будет там воспитывать сына.

Решение это тоже взволновало и привело в негодование всю родню. Опять начались толки и посыпались предсказания. «Захотелось молодой вдовушке мужа себе найти, вот почему ей в деревне не сидится», – говорили наиболее доброжелательные. Днем на людях бабушка крепилась и никогда, ни единым словом не упоминала про невестку и внука, как будто совсем забыла про их существование.

Между тем, ее верная наперсница Домна, угадывая тайные желания своей барыни, ревностно собирала все сплетни и по вечерам, лишь только оставалась с ней наедине и принималась расчесывать на ночь, тотчас, не ожидая расспросов, заводила разговор об интересном предмете и начинала докладывать все самые дикие слухи про «взбалмошную». «Вот погодите, скоро ухлопает она детские остатки, придется ей тогда гордость-то свою смирить и вам в ножки поклониться», – и этими словами непременно заканчивался ее доклад.

Бабушка набожно крестилась, клала несколько земных поклонов, прежде чем заснуть, долго ворочалась в постели, глубоко вздыхая, и, вероятно, в сновидениях часто видела исполнение Домниных предсказаний. Однако дни шли за днями, а наяву они не сбывались. Гордячка с повинной не являлась, катастрофы над ней не обрушивалось, замуж она вторично не выходила, а жила себе в Москве тихо и спокойно, вся уйдя, по-видимому, в воспитание сына.

К горечи несбывшихся ожиданий присоединился; вскоре для бедной бабушки новый и еще более тяжелый удар – эмансипация. Тут уж она совсем утратила почву под ногами, увидела полное торжество злого принципа, возропала на бога и, проскрипев немного, вскоре умерла. Внука она так и не видала. За несколько дней до своей смерти она уничтожила завещание, в котором было собиралась лишить его наследства. «Пусть уж все ихнее будет. Пусть торжествует Марья Степановна! Против рожна не пойдешь!» –

²³ Удивлению (*фр.*).

проговорила она с горечью.

Однако после смерти бабушки тетя Маня все же решила остаться в Москве и не захотела возвращаться в места, с которыми было связано у ней много тяжелых воспоминаний. Именье бабушки она отдала в аренду, поручив его надзору моего отца. Из всех родственников своего покойного мужа она с ним одним оставалась в хороших отношениях, и он всегда обнаруживал к ней живое участие и восхвалял ее при всяком удобном случае. Переписывалась она с ним аккуратно, а нам, детям, всегда читались вслух те места из ее писем, где речь шла про ее сына. А так как сын этот составлял главный интерес ее существования, то понятно, что и в письмах ее ему отводилось немало места. Поэтому этот неизвестный мне cousin Michel издавна занимал мои мысли.

«Мы с Мишелем читаем это лето «Робинзон Крузо», – писала тетя, – и он так увлекся этой книгой, что выдумывает сам такие же истории и в саду у нас в Сокольниках изображает из себя Робинзона. Он собственноручно, при небольшой только помощи кучера, смастерил себе шалаш из досок и вчера даже выпросил у меня позволение провести в нем всю ночь». Затем следовали подробности об этом шалаше, доказывающие, что тетя не менее сына увлекается этой игрой. Подробности эти привели меня в такой восторг, что и я тоже все это лето промечтала построить шалаш, но так как поддержки ни в ком из окружающих не встретила, то мечты мои так и остались мечтами.

«У Мишеля моего обнаруживается большой талант к рисованию, я думаю, из него выйдет живописец», – писала тетя. В подтверждение этих слов в одном из следующих писем была прислана нам головка акварелью его работы, которая показалась мне чудом искусства и которую я многократно потом принималась срисовывать.

Таким образом, благодаря тетиним письмам, я уже давно принимала участие во всех мелочах Мишелиной жизни.

«Слишком она возится со своим мальчишкой. Сделает она из него тряпку, маменькиного сынка», – ворчал иногда папа, читая эти длинные и восторженные описания всех Мишелиных гениальных выдумок. Но в моих глазах Мишель представлялся живым олицетворением всего гениального и талантливого, и каждая затея, каждое новое увлечение этого неизвестного мне cousin'a тотчас находили восторженный отголосок в моей душе.

Понятно поэтому, какую радость я ощутила, когда вдруг пришло известие, что тетя намерена на лето приехать в наши края, и так как дом в имении покойной бабушки давно пришел в запустение, то она проживет все лето у нас. Сегодня был день, назначенный для ее приезда. За два дня перед тем послали ей навстречу экипаж. С утра я уже была в волнении, несколько раз выбегала на большую дорогу, но вот уже и ночь настала, а тети все нет.

Мы сели ужинать. С большим разочарованием на душе я уже собиралась идти спать, как вдруг на большой дороге вдалеке зазвучал колокольчик, сначала тихо, чуть слышно, видно лошади по причине темноты идут шагом; вот звон совершенно умолк. Так всегда бывает, когда экипаж заедет за лесистую горку на повороте дороги. (Я уже хорошо изучила звон почтовых колокольчиков, так как мимо нашего дома идет почтовая дорога. Сколько раз сегодня он возбуждал во мне напрасную надежду!) Но вот колокольчик опять зазвучал все громче, ближе, забористее. Слышно, как сворачивают с большой дороги к нам в аллею. Ямщик, видно, приударил по лошадям. Теперь уже нет сомнения. Еще одна минута, и звон внезапно обрывается. Экипаж остановился у крыльца. Теперь, когда настала минута увидеть моего cousin'a, о котором я так много мечтала, на меня вдруг напала робость. Я не побежала вместе с другими вниз встречать гостей, а продолжала стоять у чайного стола на месте, машинально и в каком-то странном смущении. Снизу слышатся веселые голоса, приветствия, расспросы, звуки поцелуев. Вот, наконец, все входят в комнату. Тетя, высокая стройная женщина, вся в черном, с черной кружевной косыночкой на каштановых волосах, удивительно моложава. Ее гибкая фигура так, кажется, и гнется при каждом ее движении. На ее продолговатом бледном лице разлито выражение удивительной ласки и нежности.

– Здравствуй, Соня, – обращается она ко мне, голос у нее певучий и говорит она, растягивая слова. Тонкие пальцы ее длинных белых рук с ласкою проходят по моим волосам,

и бриллиантовое кольцо слегка царапает мне ухо. Я сразу чувствую наплыв нежности к этой милой, незнакомой мне еще тете.

Мишель высокий, довольно полный молодой человек, которому идет уже семнадцатый год (он года на полтора старше меня). Одет он уже не как мальчик, но и не совсем еще как взрослый, в какой-то фантастический костюм – черная бархатная куртка с отложным полуворотником и нанковые штаны. Он походит на юного художника. Каштановые довольно длинные волосы с пробором на боку поднимают живописные вихры над широким белым лбом и затем спускаются мягкими прядками до шеи. Лицо румяное и округленное. Пушок уже заметно оттеняет верхнюю губу. Глаза темно-голубые с густыми черными ресницами, как у матери, имеют такое задумчивое, томное, покорно-ласковое выражение, которое кажется даже странным, неуместным в этом еще почти детском лице. Мишель, очевидно, находится теперь в том неприятном переходном возрасте – и от маленьких уже отстал и к большим еще не пристал, и сам, очевидно, конфузится этого своего переходного состояния.

Вообще он говорит мало и держит себя как-то принужденно и натянуто; привыкший всегда быть предметом обожания своего маленького домашнего кружка, он испытывает неприятную конфузливость, попав в незнакомое общество, где ему кажется, что все его считают за мальчика. А тут еще папа подливает масла в огонь.

– Ну что, перешел в шестой класс гимназии? – спрашивает он. Вопрос этот остается без ответа, но по напряженному, натянутому молчанию, которое за ним следует, и по выражению лиц и тети и Мишеля видно, что папа попал прямо в больное место.

– Ну так как же, можно тебя поздравить? – немилосердно, как будто ничего и не замечая, продолжает свой допрос папа.

– Я провалился, – с виду холодно, но с легкой дрожью в голосе объявляет как можно хладнокровнее Мишель.

Папа делает вид, как будто этот ответ совсем для него неожидан.

– Как же это так, братец? – говорит он, оттопыривая немножко вперед верхнюю губу. – При твоих-то способностях да провалиться! Когда ж ты это в университет поступишь!

– Я совсем не поступлю в университет. Я пойду в Академию художеств и буду живописцем, – объявляет с решительным видом Мишель.

– Те-те-те! Вот новости! Славная, обеспеченная карьера – нечего сказать. Долго еще, видно, будешь у матери на шее сидеть! – говорит папа.

– Не из-за денег же одних жить. Есть и другие цели на свете, – задорчиво отвечает Мишель.

Тетя Маня, с глазами, полными слез, переводит умоляющие взгляды со своего сына на моего отца. Разговор этот очень для нее тяжел и касается очень большого для нее места. Дело в том, что она, по обвинению папы и всех других родственников, намудрила со своим мальчиком. Она так боялась для него всяких вредных влияний, что решила как можно дольше держать его дома, не посылать его в гимназию, а при помощи разных учителей готовить его прямо в университет.

Вначале все шло превосходно. Мишель обнаружил большую развитость, делал быстрые успехи. Раз в год разные тетины друзья и приятели из учителей и педагогов устраивали род домашних экзаменов, на которых всегда обнаруживалось, что познания Мишеля по всем отраслям значительно превосходят познания его сверстников.

Но, увы, пришло, наконец, время, когда уже дольше держать Мишеля было невозможно и пришлось отдавать в гимназию. Оказалось вдруг, что познания эти неровны, что, обладая большими знаниями по одному предмету, он совсем плох по другим. Особенно математика ему не давалась. На первом же публичном экзамене, который ему пришлось держать, он провалился блистательно. Для мальчика самолюбивого, взрослого на одних похвалах, это было страшным ударом и как-то сразу отбило у него всякую охоту к занятиям.

Одну зиму он еще поработал кое-как, но от излишнего ли волнения, от непривычки ли отвечать публично на следующих приемных экзаменах опять срезался. Тогда он объявил

матери, что ни за что не пойдет в университет, а сделается художником. Это решение страшно огорчило бедную тетю Маню, для которой жизнь всякого художника представлялась цепью безумных, таинственных соблазнов, кутежей и опасностей. Собыется он с пути, увлечется фантазиями, как увлекся его отец, кончит так же, как и он! «И я, я одна всему виною. Не сумела удержать мужа, не сумею удержать и сына!» – с отчаянием повторяла себе бедная женщина, проводя целые ночи без сна.

Как ни тяжело ей было признаваться в своей ошибке моему отцу, который и прежде всегда осуждал ее за желание дать исключительное воспитание сыну, она все же решилась переломить себя и обратилась к нему за советом. С этой целью главным образом и приехала она к нам на лето.

– Что мне делать, что мне делать? – повторяла она теперь по уходе Мишеля из комнаты, обращая к моему отцу свои красивые голубые глаза, полные слез.

– Плакать и отчаиваться незачем. Надо за лето поучить его толково, не по-бабьи, как учили его до сих пор, – очень резонно заметил мой отец.

Было решено, что наш поляк-учитель, обладавший очень большой педагогической опытностью, уже подготовивший на своем веку немало учеников к поступлению, возьмется готовить и Мишеля к поступлению в 7-й класс гимназии. Решение это и на мою судьбу имело большое влияние.

Мишель, оскорбленный вчерашним разговором с моим отцом, сначала и слышать не хотел о том, чтобы брать уроки у Малевича.

– Я бы, может, учился и один, если бы хотел. Дело все в том, что я не желаю поступать в ваш университет, из которого выходят чиновники да адвокаты. Я хочу быть художником, – твердил он самоуверенно.

На следующее утро между ним и матерью вышла страшная сцена. Тетя Маня пустила в ход и слезы и упреки.

– Ты меня не любишь. Ты хочешь меня убить, – твердила она, рыдая.

– Вы хотите насилловать мое призвание ходячими предметами, – патетически твердил Мишель, тоже со слезами в голосе.

Кончилась сцена объятиями и поцелуями. Мишель согласился брать уроки у Малевича, но только под условием, что если осенью ему все же не посчастливится выдержать экзамен, то мать уже не будет противиться его артистическому призванию, а отпустит его за границу, в Мюнхен, учиться живописи у одного известного там художника. Теперь вопрос о том, выдержит ли Мишель осенью экзамен или нет, был, следовательно, роковым вопросом для тети Мани.

Видя в Малевиче якорь спасения для своего Мишеля, она стала окружать его самую изысканной приветливостью, такой заботой, таким вниманием, которые всецело завоевали сердце старого холостяка, весьма чувствительное к обаянию женской ласки. Малевич напрягал все уменье и способности, чтобы переложить собственные знания в голову ученика.

Но, несмотря на все его усердие, дело все же шло плохо. Особенно солоно приходились бедному Малевичу уроки математики. Мишель обнаруживал решительное *parti pris*²⁴ ничего не понимать. В красивых, раз навсегда заученных выражениях, с педагогической отчетливостью докажет, бывало, Малевич какую-нибудь теорему. Мишель выслушает его, по-видимому, внимательно, но когда он кончит, вдруг спросит с невозмутимым хладнокровием:

– А что же все это доказывает?

– Как что доказывает? – закипятится Малевич. – Да разве вы не слышали? – И повторит еще раз все. – И так как $A=B$, если мы отыдем A от B , из чего следует... – выкрикивает он, наконец, торжествующе.

²⁴ Намерение (фр.).

– Нет, позвольте, вовсе этого не следует... – перебивает Мишель. – Хотите, я вам сейчас же докажу совсем обратное. – И начнет он, бывало, нести чепуху в ученых выражениях, подражая и тону и манере Малевича, но так замысловато, что бедный сбитый с толку преподаватель не сразу заметит, где тут погрешность, и только в негодовании разводит руками.

– Очевидно Мишель не хочет понимать! – объявил он, наконец, тете Мане печально.

Тетя Маня должна была согласиться с этим, но все же просила Малевича не унывать и продолжать уроки. Чтобы поддержать рвение и в ученике, и в особенности в учителе, решила она сама присутствовать на этих несчастных уроках математики. Но так как она в науке этой, разумеется, ровно ничего не смыслила, то дело от ее присутствия пошло не только не лучше, но, пожалуй, еще и хуже.

– Кажется, ясно, – говорит, бывало, Малевич.

– Ничуть не ясно. Видите, и мама – и та ничего не поняла, – убежденным голосом отвечает Мишель.

Тетя Маня пробует уверить, что для нее все совсем ясно, но Мишель тотчас же уличает ее во лжи, и бедный Малевич остается оконфуженным. Он бы, разумеется, давно отказался от этих уроков, если бы у тети не было таких прекрасных синих глаз, которыми она глядела на него так умоляюще и беспомощно.

После долгих размышлений Малевич придумал новое средство заставить Мишеля учиться. «Он мальчик способный и самолюбивый. Если бы он учился вместе с товарищем, он бы постыдился из себя дурака корчить», – сказал он. Таким образом, было решено взять для Мишеля товарища и, за неимением лучшего, выбор пал на меня.

Я всегда училась отлично и всю арифметику прошла без малейшего труда. Когда тетя, позвав меня к себе, обняла меня своими мягкими белыми руками и своим нежным, вкрадчивым голосом предложила мне учиться вместе с ее Мишелем, чтобы доказать ему, что даже девочка сможет легко понять такие вещи, каких он не понимает, я с первого же ее слова с восторгом согласилась на ее предложение. Мишель, со своей стороны, только плечами пожал, когда ему объявили, что он будет иметь меня товарищем по урокам математики. С первого же нашего общего урока, однако, оказалось, что выдумка Малевича была как нельзя более хитроумна. Мишель сразу переменял тактику.

– Кто же таких пустяков не понимает! – говорил он теперь пренебрежительно после каждого объяснения Малевича, чтобы не дать мне заважничать тем, что я лучше его по знаниям.

Я, со своей стороны, напрягала, разумеется, все усилия, чтобы быть на высоте возложенной на меня миссии. Таким образом, дело пошло совсем по-иному, и за лето мы как ни в чем не бывало прошли элементы алгебры и геометрии.

Эти совместные уроки, разумеется, очень сблизили меня с Мишелем. В первые дни по его приезду отношения наши были натянутые и принужденные. Меня-то, разумеется, тянуло к моему большому cousin, но я так ясно чувствовала, что в его глазах я совсем ничтожная, неинтересная для него девочка, что невольно робела от этого сознания и не знала, как к нему подступить. Теперь же все это переменялось. Хотя Мишель и обнаруживал на словах презрение к математике и уверял, что до сих пор не учился ей потому, что не хотел, одно очевидно было, что те способности и та легкость понимания, какие я обнаружила во время наших уроков, все же ему импонировали, и хотя он по внешности даже усилил некоторую суровость в обращении со мной, чтобы не дать мне зазнаться, однако было ясно, что я все же значительно выросла в его глазах благодаря этим урокам.

Большую часть дня мы проводили теперь вместе. Новая гувернантка-швейцарка, заменившая англичанку, была сентиментальная, но весьма миролюбивая и незлобивая старая дева, лелеявшая в сердце лишь одну мечту:! скопить достаточно денег, чтобы на старости лет вернуться в родную Швейцарию. Что бы ни встречалось ей по пути здесь, на чужбине, ничего она близко к сердцу не принимала. С первых же дней ее поступления к нам обнаружилось очень ясно, как мало общего между ней и ее четырнадцатилетнею

воспитанницею, мало походившей на тех благовоспитанных барышень, с которыми ей прежде приходилось иметь дело. Поэтому после первых слабых попыток она раз навсегда отказалась от мысли приобрести на меня какое-либо нравственное влияние.

Она требовала только, чтобы я часа два в день занималась с нею французским языком, выучивала наизусть длинные монологи из Расина и Корнеля, по вечерам читала ей вслух две-три страницы библии и, кроме того, терпеливо выслушивала бы ее замечания о моих манерах и длинные рассказы о тех князе, княгине и княжнах Мильжинских, у которых она жила, прежде чем поступить к нам. К этому сводились все мои обязанности. Во всем остальном она предоставляла мне почти полную свободу.

По вечерам мы часто делали с Мишелем длинные прогулки и иногда даже решались углубляться одни в лес. Однажды мы забрели особенно далеко. День был душный, и в воздухе парило. Но мы так увлеклись разговором, что и не замечали жары. Омахивая себя своей широкополой соломенной шляпой, Мишель бодро шагал, развивая передо мной целый ряд картин и образов. Благодаря своему одинокому, исключительному воспитанию Мишель мало походил на других юношей его лет. Он читал очень много и без разбора, что ни попадалось в его руки, увлекался предметами самыми разнородными, успел уже много передумать, но до сих пор, кроме матери, ни с кем не делился своими мыслями и для восемнадцатилетнего мальчика был замечательно чист и далек от жизни, молод. Молодых людей своих лет он дичился, в присутствии взрослых мужчин на него находила досадливая робость и страх, чтобы они не сочли его за мальчика. С женщинами он, в сущности, чувствовал себя ловчее и проще, чем с мужчинами, и скорее с ними сходилась; но в доме своей матери он имел случай видеть лишь старых, совсем неинтересных женщин.

Я была его первым товарищем, и, уж, право, могу похвалиться, таким товарищем, лучше какого и пожелать нельзя, всегда готовым выслушивать его монологи, понимающим его на полслово и моментально воспламеняющимся всем, что его самого занимало. Как такого товарища Мишель очень ценил меня, хотя, как я уже сказала, обращался со мной несколько сурово и всегда делал вид, что снисходит ко мне, что если гуляет или разговаривает со мной, то делает это исключительно для моего удовольствия. О какой-либо галантности в его отношениях ко мне не было и помину.

Мишель о любви имел понятие очень выпященное и возвышенное. Он верил, что где-то существует она – образец всех совершенств.

Говоря о женском поле, в разговорах со мной он высказывал взгляды весьма скептические и разочарованные. Не менее презрительно относился он к браку и к буржуазному счастью. Вследствие всех наших разговоров на этот счет я была глубоко проникнута убеждением, что уж если Мишель когда-нибудь влюбится, то это будет существо идеальное, прекрасное, не похожее ни на одну из тех девушек, каких я знала в действительности. Сам Мишель был, кажется, того же убеждения. Вообще грех было бы сказать, чтобы своими ожиданиями от жизни он выказывал слишком много скромности. Он твердо и наивно верил, что совершит нечто великое и прекрасное; в чем это великое будет состоять – решить еще не успел. Зато уверенность в том будущем, которое неизбежно принесет ему судьба, была в нем так велика, что, я думаю, если бы дьявол взвел его на высокую гору и показал бы ему все человеческие доли, какие ни существовали с начала мира, и сказал ему: выбирай любую, – пожалуй, что он не взял бы ни одну из них, из боязни продешевить, из убеждения, что его собственная, еще задернутая до поры до времени таинственная доля будет лучше и прекраснее всех других.

Чаще даже, чем о любви, толковали мы с ним о его будущей карьере.

– Это все пустяки, что мама пристаёт с экзаменом, – самоуверенно говорил мне Мишель. – Пойду ли я в университет или сделаюсь художником – в сущности, это все равно. Я сам знаю, что теперь не время для процветания художников. Наш век имеет другие, более серьезные задачи. Да, признаюсь тебе, и живопись, как и всякая другая узкая специальность, не в состоянии бы была удовлетворить меня. Но ведь не в этом совсем дело. Люди так глупы, что им всегда нужна какая-нибудь кличка, вот Петр, мол, кузнец, а Иван – сапожник. Ну, так

в угоду дуракам, я и возьму себе кличку – художника или адвоката – все равно, какую с меньшей затратой сил приобрести себе можно будет. Для меня это, во всяком случае, будет только кличка, а цель моя не в том – приобрести влияние на людей, *m'imposer a mon siècle*²⁵, поработить себе массы и ввести человечество на новую дорогу – вот стоит так жить.

В это время только появился по-русски перевод Шпильгагенского романа «Один в поле не воин» и романа...

\О Достоевском\

Достоевский часто рассказывал нам планы задуманных им романов, а иногда сцены и эпизоды из своего прошлого.

– Да, поломала-таки меня жизнь порядком, – говаривал он бывало, – но зато вдруг найдет на нее добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает.

Одним из самых светлых воспоминаний Достоевского были, по его словам, воспоминания, связанные с появлением в свет его первого романа «Бедные люди». Начал он его писать очень молодым, еще будучи учеником в инженерном училище, но кончил в 1845 г., года два после выхода в офицеры.

В это время в русской литературе господствовало направление, совершенно противоположное тому, которое за границей привыкли связывать с представлением о русских романистах.

Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии (в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и в знаменитой драме Грибоедова «Горе от ума») и затем достигший такого блестящего расцвета в сочинениях Гоголя, был на время забыт; вскоре после Пушкина в 1837 г. в литературе проявились совершенно обратные течения. Сам Гоголь впал в мистицизм, граничивший с умопомешательством, отрекся от всех своих прежних убеждений и в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ». В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки и затормозить дело своих великих предшественников. Культ гения и презрение к толпе – было лозунгом этого кружка.

«Все человечество, взятое как целое, глупо и ничтожно, – проповедовали они. – Роль толпы – служить лишь удобрением, на котором могут вырасти несколько отдельных выдающихся личностей. Таких избранных судьбы, «гениев», ради которых существует все человечество, является, быть может, два-три в течение целого столетия; но они составляют «соль земли». Подобно тому, как агава растет в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распускается пышным цветком, так и миллионы людей должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем из среды себя удастся выдвинуть гения. Гений носит в груди своей божественную искру и в делах своих отдает отчет одному богу. Законы обыкновенной нравственности, обязательные для простых смертных, про него не писаны. Толпа должна бежать за колесницей гения, как послушный раб или как влюбленная женщина, и не беда, если колесница эта в своем торжественном шествии придавит сотни маленьких, темных людей».

Великий – расти и возвышайся,

А низкий – терпи и умаляйся.

Вот последнее слово, конечный результат этого культа гения.

Понятно, что подобное аристократическое учение было как нельзя более с руки

²⁵ Войти в век (*фр.*).

«рыцарю самодержавия», как звали иногда императора Николая. Оно освещало и объясняло ему смысл его царствования. Поэтому при дворе новый литературный кружок тотчас удостоился благосклонного одобрения, тогда как такие писатели, как Пушкин и Гоголь, только были терпимы.

Душою этого кружка были Сенковский и Кукольник – два «гения», творения которых, увы, составляют уже теперь не более как библиографическую редкость, хотя в течение целых десяти лет они пользовались такою популярностью, какой достигали лишь немногие из русских писателей.

Кукольник писал высокопарными стихами душепотрясающие драмы, в которых выводил на сцену титанов в человеческом образе. Сенковский же, под псевдонимом барона Брамбеуса, издал в свет томов двадцать романов, которым никак нельзя отказать в остроумии и богатстве колорита, но которые не затрагивают ни одного простого человеческого чувства. Художническая фантазия была в нем развита до такой степени, что он оставил уже немало описаний путешествий по Центральной Азии, по Африке, по Южной Америке, хотя сам, кажется, всю жизнь не выезжал из Петербурга.

Впрочем, оба «гениальных» друга привлекали на себя внимание публики не только своими литературными произведениями, но и всевозможными эксцентричностями своей частной жизни. Весь Петербург интересовался их многочисленными любовными похождениями и теми роскошными пирами, которые они задавали время от времени в редакции издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения».

Этот журнал служил могущественным орудием для распространения взглядов кружка. Были годы, когда он имел до 50 000 подписчиков, цифра, которой никогда ни прежде, ни после не достигал ни один из толстых журналов в России. Его влияние было громадно в провинции, пожалуй, даже больше, чем в самом Петербурге. Он решал судьбу каждого начинающего писателя и либо сразу выводил человека из ничтожества на путь славы, либо бесповоротно, одним махом пера, клеймил его печатью бездарности.

В Москве существовала, однако, маленькая горсточка литераторов, сохранивших некоторую самостоятельность. «Последним из могиканов» старых традиций, завещанных Пушкиным и Гоголем, был гениальный критик Белинский, сочинения которого и теперь поражают глубиной анализа и верностью взгляда. Но голос его долго был гласом вопиющего в пустыне.

Наконец, около 1845 г., в среде молодежи все более и более стал назревать протест против господствующего в Петербурге аристократического направления в литературе. Поверхностность и неудовлетворительность теорий, проповедуемых партией «Библиотеки для чтения», стала сказываться все яснее, а осознанность и законность присвоенного ей себе патента на гениальность стала казаться все более и более сомнительной.

В воздухе чувствовались уже предвестники близкой перемены. Все жаждали нового слова, новых пророков. В это время к Белинскому явился однажды еще молодой человек Некрасов, которому предстояло сделаться в будущем одним из величайших русских поэтов.

Однако он сам еще не отдавал себе сознательного отчета в том громадном даре, которым наделила его природа и который не нашел еще своего направления. Он явился к Белинскому не с тетрадью стихов, а с кипой ассигнаций, полученных им от отца, богатого помещика. На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник», главная задача которого будет состоять в том, чтобы бороться против «Библиотеки для чтения».

Белинский согласился с радостью, но теперь представился вопрос, где подобрать подходящих сотрудников, откуда взять свежие, молодые силы. После блестящего периода Пушкина, Лермонтова и Гоголя в литературе произошел застой, продолжавшийся притом около 10 лет. Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный, писал повести. Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский – все кончили свои годы учения, ни один из них еще не вступил на литературное поприще, поэтому вопрос о сотрудниках сильно затруднял новых издателей.

Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник». Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих «Бедных людей»», – почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь, – рассказывал Достоевский своим приятелям, – провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе – ну хоть сейчас иди и топись. Сiju я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?»

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимают меня обнимать, а я и знаком-то по-настоящему не был, знал их только в лицо.

Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его; это выше сна».

– Поймите же вы, поймите, что для меня такой их порыв значил, – говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании. – У иного успех – ну хвалят его, встречают, поздравляют. А ведь они прибежали со слезами в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!

Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут», – с неудовольствием заметил Белинский.

Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.

«Шел я к нему с трепетанием сердца, – рассказывал мне Достоевский, – и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»

И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не зная, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: Господи, да неужели же я в самом деле так велик?»

Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым,

правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.

В публике проявился теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились. Идеи свободы, равенства, братства народов носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.

В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро такие сходки характер политический.

Петрашевский, горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общою организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой.

Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замыслили.

Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь.

Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой таинственностью, но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный, например: можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или – идет ли православная религия с идеями Фурье?

Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и, кроме того, знал о предположении завести тайную типографию.

И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы.

23 апреля 1849 г. был роковой день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы.

«Вернулся я 22 апреля вечером, часов около 2 ночи, от одного из наших товарищей, – рассказывает Достоевский, – разделся, лег спать и тотчас уснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в мою комнату вошли какие-то необыкновенные и подозрительные люди. Брякнула сабля, нахально за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «вставайте!» – Смотрю: квартальный с красивыми бакенбардами. Но говорил не он: говорил господин, одетый в голубое с подполковничьими эполетами²⁶.

– Что случилось? – спросил я, привставая с кровати. – «По повелению»... – Смотрю: действительно «по повелению».

В дверях стоял солдат, тоже голубой. «Эге! Да это вот что!» – подумал я.

²⁶ Голубой мундир – принадлежит исключительно жандармам, полку, приставленному к тайной полиции. (Примеч. С. В. Ковалевской.)

– Позвольте же мне, – начал я было.

– Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с, – перебил меня подполковник еще более симпатичным голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и начали рыться, – немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стула на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хоть и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличной событию.

У подъезда стояла карета: в нее сел солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту²⁷. Там много было ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин штатский, но в большом чине, принимал... непрерывно входили голубые господа с новыми жертвами.

Нас разместили по различным углам и весь день продержали в томительной неизвестности. Кормили нас, впрочем, на славу: подавали чай, завтрак, кофе, обед, и жандармы уже угощали нас, сетовали, что мы мало кушаем.

К вечеру свезли нас в крепость. Странно, что по дороге туда мне вовсе и в голову не входило, что меня везут в крепость. По приезде, разумеется, стало ясно.

Меня отвели в крошечную каморку, едва освещенную плашкой на высоком уступе оконной амбразуры. Там меня оставили одного. Номер мой оказался таким сырым, что когда на следующее утро зашел комендант, то должен был заметить: «А здесь ведь в самом деле нехорошо!» На мой вопрос: «Зачем меня арестовали?» – он ответил: «На допросе вам все объяснят». Однако к первому допросу меня повели лишь спустя 10 дней, а их я провел в полнейшем ничегонеделании: ни книг, ни бумаги! Разнообразие состояло разве только в том, что двери каземата отворялись по пяти раз в день: в 7 часов утра, когда приносили умываться и убирали комнату; в 10 час. при обходе казематов начальством; в 12 час, когда приносили обед – два блюда: щи или суп и нарезанная кусками говядина, так как ни ножей, ни вилок не допускалось; в 7 час. вечера, когда приносили ужин, и, наконец, когда стемнеет, чтобы поставить на окно плашку, довольно, впрочем, бесполезную, так как делать все равно ничего не давали.

Подобное заточение продолжалось целые восемь месяцев. После первых двух месяцев стали нам давать книги, но в очень небольшом количестве. Скука все же была такая страшная, что даже те дни, когда нас водили к допросу, считались праздниками. Как идет следствие, чем оно кончится – я ровно ничего не знал.

Вдруг рано утром 22 декабря является в мой каземат начальство и читают мне приговор: приговорен к смертной казни через расстреляние.

Когда совершится казнь – в приговоре сказано не было. Но не прошло и часа, как вошел опять надзиратель и велел мне одеться в собственное платье, а не в казарменный костюм, который я носил в каземате. Под строгим конвоем вывели меня на двор, где уже дожидались 19 человек моих бывших товарищей. Посадили нас всех в кареты, по четверо человек в одну, и с ними солдат. Было часов семь утра. Куда нас везут, мы не знали. Спросили мы об этом солдата, но он отвечал: «Не приказано сказывать!» Везли нас очень долго, но так как был мороз, то сквозь обледенелые окна кареты никак нельзя было разобрать, куда везут. Попробовал я было отчистить стекло пальцем, но солдат сказал: «Не делайте этого, не то меня будут бить». После этого пришлось, разумеется, отказаться от удовлетворения столь понятного любопытства.

После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский

²⁷ Где помещалась тайная полиция. (Примеч. С. В. Ковалевской.)

плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас, всего 20 человек, взвели на него и расставили в два ряда. После долгого заточения и разлуки с товарищами хотелось нам поздороваться, поговорить друг с другом, но за нами наблюдали так строго, что удалось только обменяться несколькими словами с теми, кто стоял ближе.

На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно.

20 раз повторенные аудитором роковые слова: «Приговорен к смертной казни расстрелянием» – так глубоко врезались в моей памяти, что многие годы спустя случилось мне вдруг проснуться среди ночи от того, что казалось, кто-то прокричал мне их в ухо. Но не менее глубоко врезалась мне в память и другая, чисто внешняя подробность, как аудитор, окончив чтение, сложил бумагу, положил ее в боковой карман и сошел с возвышения.

– В эту самую минуту, – рассказывал Достоевский, – проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мной товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей.

Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят...

Я помню, что я очень испугался, но в то же время решил не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого: зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.

На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного, но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.

Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».

Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы думать про себя. Мне не хотелось представить себе, как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже нечто, кто-то или что-то совсем другое.

С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню – я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти – моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.

Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.

Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможны ли бы...»